

VII БС.

Р 12

ДЕТИ ТРУДА и БОРЬБЫ

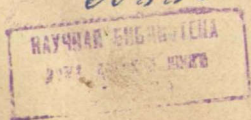
ДЕТИ
ОКТЯБРЯ

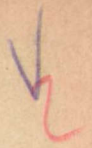


МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ 1925

Р
12

65880





БИБЛИОТЕКА МОЛОДОГО РАБОЧЕГО
 „Дети труда и борьбы“

Д382

VII 65

~~VII 65~~

ДЕТИ ОКТЯБРЯ

~~СТАРИНА~~

ПОД РЕДАКЦИЕЙ
 И. С. Рабиновича

A 12

РАЙОННАЯ
 Библиотека-читальня
 им. Г. А. Успенского

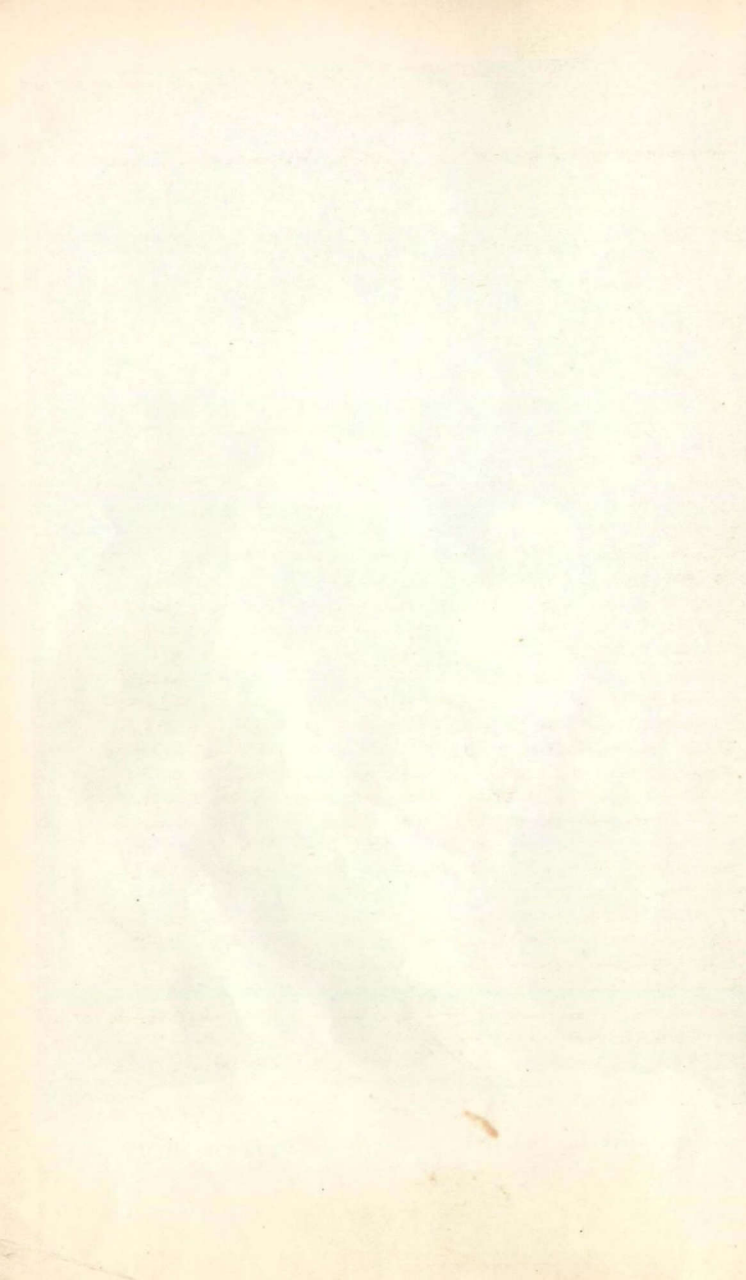
~~6889~~

МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ
 МОСКВА—1925—ЛЕНИНГРАД



Комсомолец, пионер и октябренск.

Скульптура Н. Стрема.



ПРЕДИСЛОВИЕ

Переживаемая нами великая, быть может, величайшая эпоха всемирной истории сваливает на плечи трудящихся, до сих пор сгибавшихся лишь под тяжестью физического труда, всю ношу веков, возлагает величайшие мировые задачи. Крушение старого мира, свидетелями которого мы являемся, ставит перед трудящимися организационные и творческие задачи такой широты и глубины, такого масштаба, каких еще не приходилось выполнить ни одному классу в истории человечества. Ярко, сильно и властно ставит наша эпоха перед восходящим классом пролетариата вопрос о создании новой жизни. Новая организация производства, новые методы науки, новые пути искусства—вот те задачи, которые ставит жизнь перед людьми труда, перед творимой ими революцией.

И в центре всей этой титанической творческой работы стоит рабочая молодежь. Детям Октября, счастливому молодому поколению пролетариев великой эпохи рабочей революции, история определила стать строителями нового мира.

Но раньше чем перейти к радостному революционному строительству, пролетариат России прошел невероятно суровый путь борьбы с проклятым наследием кровавого царизма и отхозяйничавшего класса, с многочисленной ратью контр-революции отечественной и зарубежной. И рабочая молодежь проделала весь этот путь вместе со всем рабочим классом страны. Классовый инстинкт

подсказал рабочей молодежи, что ее судьба связана с судьбой революции, и она беззаветно отдалась делу борьбы. Если слова поэта: „Всем телом, всем сердцем, всем сознанием слушайте революцию“ нашли отклик в чьей-либо душе, то именно в душах миллионов рабочего молодняка страны.

Первый порыв революционной бури всколыхнул пролетарскую молодежь. В февральские дни рабочая молодежь Ленинграда участвовала во всех важных событиях: в разоружении полков, в привлечении армии на сторону восставших, в освобождении политических заключенных из самых недоступных столичных тюрем, в тяжелой борьбе с засевавшей в разных местах полицией. Вся разведочная часть как-то незаметно перешла в руки рабочей молодежи. Когда на фабриках и заводах стала организовываться Красная гвардия, почти вся рабочая молодежь, способная носить оружие, вступила в ряды красных бойцов.

В июльские дни собрание молодежи Путиловского завода в Ленинграде заканчивало свою резолюцию: „Мы, юноши, наученные горьким опытом своих отцов, как опасно браться с буржуазией, заявляем, что страшен будет тот час, когда для спасения революции выйдем на улицу и своими молодыми руками уничтожим тех паразитов, которые живут потом и кровью трудящихся“.

Выступление московской рабочей молодежи предшествовало одной из быть может самых прекрасных страниц великой российской революции. Вот в каких выражениях вспоминает об этом выступлении один из его организаторов и участников (Ася):

„Мрачное затишье, затишье перед грозой И первый ослепительно яркий блеск молнии—демонстрация рабочей молодежи Москвы 15 октября. Это великая зарница, это мощный предвестник грядущей бури. Молодежь не умела ждать. К солнечной радости и лучистому миру свободы тянулась она. Было очевидно: если союз молодежи не поведет на улицу рабочую молодежь, она пойдет сама. И Московский Комитет взял на себя руководство демонстрацией.“

15 Октября. Бодрое, ласкающее солнце... Сотни юношей и девушек со сверкающими радостью лицами, десятки алых знамен с задорно-юными лозунгами: „Трепещите тираны, юный пролетариат восстал“, „Миру дряхлому не спорить с нами, юными. Вперед“.

О действиях рабочей молодежи Москвы в дни октябрьского переворота та же Ася рассказывает:

„Весело трещат пулеметы. Темная, непроглядная ночь. Нужно людей в центр для связи. Кто пойдет? Хвостики (подростки), конечно. Кто лучше их выполнит опасные, отчаянные поручения—прорваться через белогвардейские патрули с ценными секретными сведениями? Из района в район, из района в центр—всюду под дождем пуль бегают члены союза молодежи. И ни тени страха, ни тени колебания на их лицах. „Победа или смерть“—вот о чем думает каждый из юных борцов. В окопах, на баррикадах—всюду пламенной верой зажигают всех окружающих юные герои, всюду они в первых рядах. Много их погибло в октябрьские дни“.

Если в октябрьские дни могли сражаться только молодежь Москвы и Ленинграда, где происходили первые бои за власть, то сейчас, после завоевания власти, в борьбу вовлекается пролетарская молодежь всей страны. Октябрьская победа пролетариата России подняла на ноги черную рать всемирной контр-революции. Извне—немедкие оккупанты, черные силы Эстонии, белогвардейцы Финляндии, румынские бояре и наконец отбросы Польши—шляхта,—точно стая диких волков, словно шакалы кроважидные, устремились в страну рабочих и крестьян. Внутри—Колчак, Юденич, Деникин, Дутов, Григорьев, Махно, Зеленый превратили всю страну в один сплошной фронт. Тесно сомкнулись ряды всех черных сил мира, всех врагов свободы труда, всех ненавистников пролетарской революции. И рабочая молодежь сотнями тысяч шла исполнить самый тяжелый долг—долг крови. Можно смело сказать, что в деле освобождения советской земли от наступления контр-революции роль молодежи огромна и исключительна. И может быть не будет преувеличе-

нием, если мы скажем, что здесь коллективный героизм молодежи часто достигает самой высокой степени, на которую когда-либо подымалось самоотвержение человека. Достаточно указать на героическую борьбу киевской рабочей молодежи с бандами Зеленого под Триполем в июле 1919 года. Но, не имеющие почти примера в истории войн, борьба и гибель этого юношеского отряда не являются здесь чем-то исключительным. Н. Скрипник пишет: „Трипольская трагедия—одно из многих и многих явлений гражданской войны на Украине, где гибли сотни и тысячи молодых борцов рабочего класса, которые творили историю в каждой губернии, в каждом местечке, в каждом селе“.

Но самым высшим проявлением революционной активности и революционного творчества рабочей молодежи является создание Коммунистического Союза рабочей молодежи. Как по широте масс молодежи, охватываемых им, так по глубокому и решающему влиянию его на эти массы Союз является единственной в мире массовой организацией молодежи.

Союз вел в бой рабочую молодежь в эпоху гражданской войны, Союз продиктовал рабочей молодежи необходимость участия в строительстве страны в период перехода от войны к миру, Союз указал рабочей молодежи на единственный правильный путь—путь учебы, Союз в настоящее время стоит у колыбели нарождающегося в среде рабочей молодежи нового быта.

Таков в общих чертах многотрудный, но и многославный революционно-творческий путь юного поколения Октября—о нем и настоящая книга.

И. Рабинович

В ПЕРВЫЕ ДНИ

Записывались просто: незнакомый молодой рабочий в черной, смятой, как блин, фуражке, сдвинутой на затылок, с серым острым лицом (папироска в углу рта), вписывал в синюю ученическую тетрадь имена тех, кто приходил.

— Фамилия?—отрывисто спросил он, когда Петька с сильно бьющимся сердцем, застенчивый, смущенный, связанный по рукам и ногам, очутился перед его столом. Петька ждал, что его прогонят: „Куда, паршивец, лезешь? Молоко на губах, а тоже..“

— Петр Клоков,—почти прошептал он.

— С какой фабрики? — опять спросил рабочий, не поднимая от тетради глаз.

■ Петька сказал.

— Номер винтовки?

— Чего?—спросил Петька, не понимая вопроса.

Но рабочему ответил солдат, стоявший у груды винтовок, сваленных на полу здесь же у стола; он проговорил длинный номер и сунул Петьке винтовку в руки.

— Иди к тому столу,—показал он рукой в глубину комнаты, где у длинного стола, накрытого черной клеенкой, толпились рабочие уже с винтовками в руках. Петька, широко улыбаясь, крепко держа винтовку обеими руками, пошел. Он не чувствовал ни рук, ни ног, словно они были ватными, и плыл в тумане.

Ему дали какую-то бумажку, патронные сумки из холста, пачки патронов, ременный пояс, а потом молодой солдат, бойкий и веселый, что-то говорил ему о затворе, о том, как надо держать винтовку, брал винтовку из его рук, щелкал затвором и все спрашивал:

— Понял, товарищ?

— Понял, — невинно отвечал ему Петька, хотя от волнения не понимал ни одного слова.

В углу комнаты у окна рабочие рассматривали только что полученные винтовки, заряжали их, гремели затворами, подпоясывались новыми желтыми солдатскими ремнями, прилаживали сумки с патронами и сговаривались, кому и с кем идти.

В большой комнате было холодновато, дымно и сыро. Пахло махоркой.

— Ага, и Клоков с нами,—весело сказал низенький безусый рабочий, когда Петька подошел к окну,—записался?

Петька маслом растекся—широкой улыбкой.

— Записался.

Петька был рад, что на него не смотрят. Он прислонил винтовку к стене и начал подпоясываться и прилаживать патронные сумки. От нетерпенья у него дрожали руки.

А комната наполнялась народом. Входили новые группы рабочих. Говорили громко, нервно, будто подбадривали

себя, смеялись необычным отрывистым смехом без веселости, а двигались по комнате как-то толчками. Три солдата, называвшие себя инструкторами, составляли из рабочих взводы Красной гвардии, отсчитывали по двенадцати человек и назначали к ним старшего. Петьку причислили во взвод мастера Леонтия Петровича, который здесь же, в комнате, попытался поставить свою гвардию в ряд и, сдерживая улыбку, сказал:

— Ну, товарищи, у меня команды слушаться. Чтоб все в порядке было. Иначе... Строго, товарищи. Идемте.

Все, подтягиваясь, шумно вышли на улицу. От дверей клуба по тротуару тянулась длинная очередь желающих записаться в Красную гвардию. Это пришли рабочие с фабрик и заводов, что за заставой. Среди их черных засаленных курток в очереди резко выделялись синие новенькие шинели трамвайных кондукторов. Около дверей на тротуаре и даже на мостовой уже стояла большая толпа женщин и пожилых рабочих, пришедших сюда поглядеть, как „наши пойдут воевать“. Смеялись, перебрасывались веселыми шутками, грызя семечки, и все были спокойны и беззлобны. Только молодая женщина с бледным, меловым лицом, до самых глаз закрытым черным потрепанным платком, в шубейке с плешивым воротником, кричала, стоя у самой очереди:

— Вернись, Овдонька. Богом прошу, вернись. Гляди-ка, какой гвардеец нашелся. Чорт конопатый. Слышишь, Овдонька? Домой иди!

А Овдонька, уже пожилой рабочий с рыжей свороченной на бок бородкой, злобно искоса смотрел на женщину и, не покидая очереди, вполголоса ругался.

— Цыц, стерва. Убью. П-шла вон. Исколошмачу! — ругался Овдонька.

Толпа с удовольствием слушала перебранку. Но женщины сочувственно и немного насмешливо поддерживали женщину.

— Конечно, какая уж тут гвардия, ежели двое детей.

— Записываться должны молодые.

— Знамо, надо молодым. Пушай они идут.

Высокая властная старуха с суровым лицом вела к штабу за рукав парня лет восемнадцати, у которого в руках была винтовка, а у пояса холщевые сумки с патронами.

— Иди, сейчас же отдай все назад,—сердито говорила она,—я тебе покажу гвардию!

Парень шел, опустив голову, красный от стыда и сердито бормотал:

— Все одно убегу. Не сейчас—ужо убегу.

А старуха, дергая его за рукав, говорила:

— Я те убегу! Ты у меня свету не взвидишь. Вояка какой отыскался.—И обернувшись к толпе, бросила мельком:

— Дело-то без дураков обойдется.

Петька испугался: ведь и его могут так. Придет мать, увидит,—она, пожалуй, тоже хорошую гвардию задаст. Он испуганно стал осматривать толпу. Но матери не было.

Взводы смешались. Пошли просто толпой, человек в пятьдесят. Леонтий Петрович попытался было установить порядок, но потом махнул рукой:

— Сойдет.

* * *

Шли серединой улицы, шумной и веселой гурьбой. А на тротуарах стояли густые толпы народа и хмуро

смотрели на них. Петька все еще боялся, что его увидит мать и заставит вернуться, но когда прошли Кудрино и вышли на Садовую, он успокоился и пошел уже весело, словно его кто подбадривал. Везде было полно народу. Еще никогда Москва не казалась такой многолюдной, как в первый день гражданской войны. Шумно носились грузовые автомобили с солдатами и рабочими, точно вазы с качающимися цветами. Слышались крики „ура“, отрывочное нестройное пение и выстрелы, выстрелы со всех сторон.

Петька, сдвинув шапку на затылок, шел смело с самым решительным видом. Когда проезжали автомобили с солдатами, он кричал „ура“, срывал с головы свою обтрепанную серую шапчонку и отчаянно махал ею. И туго подпоясанный ремнем, подтянутый, взволнованный, он будто плыл в толпе: так легко было ему итти.

И толпа, и улица, и эти крики „ура“, и сам он—все это было таким новым, и так все диковинно изменилось, что Петьке хотелось и петь и смеяться от радости, хотелось сорвать винтовку и долго стрелять в воздух.

Вооруженные солдаты и рабочие собирались на Скобелевской площади у дома генерал-губернатора—старого, с желтым строгим фасадом. В доме был революционный штаб. Солдаты и рабочие с винтовками в руках пробирались через узкую дверь, заполняли чопорные комнаты, черно-серой массой толкались в белом зале и на широкой с золочеными перилами лестнице, громко разговаривали, курили. Острый табачный дым стоял сизым облаком над толпой по всем комнатам.

Петька впервые был в этом большом всегда таинственном доме, где жили только князья, графы и очень важные генералы. Он с наивным удивлением смотрел

на высокие лепные потолки, на зеркала во всю стену, на белые колонны огромного зала и с гордостью думал:

„Наша взяла“...

И радовался: теперь будет о чем рассказать матери.

Высокий человек в теплом с барашковым воротником пальто, но без шапки, с длинными волосами, растрепанными и повисшими, как темная спутанная кудель, поднявшись на стул, надрывно кричал тенорком:

— Тише, товарищи. Нужно заслон в Камергерском.

И еще кричал что-то, чего Петька не разобрал...

Рабочие заговорили шумно, заволновались.

— На Камергерский, товарищи. Держись!

И толкаясь, группами начали уходить и на ходу щелкали затворами винтовок. Петька потерял в толпе и Леонтия Петровича и товарищей с Пресни и с незнакомыми пошел на улицу.

Выстрелы внизу Тверской гремели непрерывно. По соседству с домом генерал-губернатора стояли часовые, предупреждавшие рабочих и солдат, идущих вниз по Тверской:

— Цепью, товарищи. Осторожно.

Солдаты и рабочие пригибались на ходу, прятались за выступы стен, шли гусем один за другим. Мостовая была пуста, что после шумных и людных улиц тревожило. Здесь уже ходила жуть.

У Петьки запрыгало сердце и сперло в груди. Он крепко, обеими руками вцепился в винтовку, готовый каждую минуту выстрелить, и шел за другими, приседая и останавливаясь, как все, бессознательно подражая им в движениях и даже в манере идти.

Пэк-пэк! Тррах! — гремели выстрелы совсем близко. Что-то резко щелкало в камни мостовой.

— Летают, голубки, — засмеялся, солдат, шедший впереди.

Петька оробел.

Один по одному все перебежали от выступа к выступу и собрались на углу Камергерского, где уже стояла небольшая кучка рабочих и солдат, прячась за угольный красный дом со старой проржавленной голубой вывеской: „Виноторговля“. Здесь воздух был полон свиста.

Рабочие были все незнакомые. Петьке хотелось поговорить с ними, расспросить, где сидят враги, но он оробел.

Желание выстрелить из винтовки захватило его с новой силой; но и здесь никто не стрелял; а одному стрелять было боязно: вдруг заругают?! Все стояли молча, нерешительно переступали с ноги на ногу, пощелкивали сапогами, словно всем было холодно; у всех были серые лица с пепельными губами.

Румяный Петька с живыми быстрыми глазами тянул к себе глаза всех. Ах, как ему хотелось выстрелить! Но никто не стреляет... Только на углу соседнего переуллка, ниже по Тверской, толпились солдаты, и среди них резко выделялись черные фигуры рабочих: они стреляли вниз к Охотному. Петька не утерпел:

— А отсюда стрелять нельзя?

— В кого же ты будешь стрелять тут? Тут не в кого.

Иди вон на тот угол, — угрюмо ответил высокий солдат с поднятым воротником шинели в серой шапке, глубоко надвинутой на уши.

— А страшно идти туда?

— Ты попробуй,

Солдат лениво потоптался, помолчал и вдруг оживился:

— Айда-ка, товарищ, вместе. Я вперед, а ты за мной. Вместе-то веселее. Только берегись. Стрелять будут, брякайся на землю.

У Петьки забилося сердце и по спине побежали мурашки, но он храбро ответил:

— Что ж, идем.

— Зря вы лезете, — лениво сказал кто-то сзади.

— Ну вот еще, скажет тоже, — сердито отозвался солдат, — идем.

Он поглубже надвинул шапку, поправил винтовку подтянулся и быстро побежал вдоль стен по тротуару низко пригибаясь на бегу. Петька бросился за ним. Один дом пробежали, другой. Где-то щелкнул выстрел, и окно над головой солдата печально звякнуло. Солдат прыжками бросился к зеленому крыльцу аптеки и здесь присел. Петька, точно подкинутый пружиной, метнулся за солдатом и присел рядом с ним. Солдат тяжело дышал.

— Откуда это? — тревожно спросил Петька.

— А чорт их знает. Должно, с крыши.

— А ведь могут убить.

Солдат хмуро, мельком взглянул на парня, и в этот момент Петька заметил, что солдат дрожит, как в ознобе, а лицо позеленело и глаза странно расширились и посветлели. Стало жутко. Едва разжимая челюсти, сквозь зубы солдат сказал:

— Убить могут... это как пить дать. Того и гляди.

Оба, крепко прижавшись к камням крыльца, сидели минут пять. Солдат все дрожал и сквозь зубы ругал кого-то.

Между тем стрельба стихла. Солдат поднялся на ноги и осторожно начал осматривать крыши домов, потом рванулся, прыжком выскочил из-за крыльца и побежал через улицу. Петька, не помня себя, почти не сознавая, что делает, побежал тоже. Сверху нервно и беспорядочно затрещали выстрелы. Вокруг защелкало. Солдат, бежавший впереди, неловко споткнулся, выронил винтовку и, громко выругавшись, грохнулся на мостовую. Петька успел заметить, что солдат смаху ударился головой о камни и его серая шапка отлетела вперед.

— А... А... Скорей!—кричали с угла.

Петька перебежал улицу. Солдат лежал все там же, где упал, а кругом него по камням мостовой щелкали пули и подскакивали изредка кусочки земли, поднятые ими...

— Готов,—отрывисто говорили солдаты, стоявшие за углом,—нужно было лезть чертям.

Они сердито смотрели на Петьку, будто он был виновником смерти солдата, и ворчливо ругались.

Сверху, с Тверской, приехал автомобиль со студентами-санитарами и подобрал убитого. Быстро положили его на носилки, собрались уезжать, но с угла им кто-то крикнул:

— Шапку-то, шапку возьмите.

Шапку забыли. Вдруг всем показалось, что шапка для убитого необходима.

— Шапку, шапку возьмите,—кричали все.

— Возьмите шапку,—истерично крикнул Петька,—шапку!..

Студент-санитар соскочил с автомобиля, поднял шапку и положил ее на носилки рядом с головой убитого.

Теперь было все в порядке.

Автомобиль уехал, и стало почему-то немного легче на душе. На том месте, где лежал убитый, камни потемнели, и стояла пугающая красная лужа во впадинах. Не хотелось туда смотреть, но тянуло подойти ближе и посмотреть пристально...

— Эх, крови-то сколько,—сказал сумрачно рабочий в темной, сильно потертой кожаной куртке и с рыжим теплым шарфом на шее.

Рабочий потрогал шарф рукой, подумал и тихонько сказал на свои мысли:

— Да. Так-то вот.

Все молчали. И каждый думал о чем-то своем и прятал глаза от других.

Рабочий с рыжим шарфом скрипуче, нехорошо засмеялся.

— А вообще-то, братцы, дело не того... табак. Бьют по-настоящему, подлецы.

— И откуда это?

— Должно, с крыши, с гостиницы. Там их тьма засела.

— А можа, от Воскресенских ворот?

— Нет, это с крыши,—подтвердил Петька,—я видел, с крыши.

Все с любопытством посмотрели на него: паренек-то случайно не лежал рядом с мертвым солдатом.

— Ну что, товарищ, чай у тебя душа в пятках?—спросил рабочий, говоривший о рае,—пожалуй, теперь тебе иголку надо?

— Какую иголку? Зачем?—удивился Петька.

— Иголку настоящую. Душу выковыривать из пяток.

В толпе коротко засмеялись. Петька сразу покраснел, и у него стал такой сконфуженный вид, что пожилой усатый солдат угрюмо сказал ему:

— Зря ты, парень, полез сюда.

— Почему же зря? Разве я не такой же гражданин, как, например, вы? Это даже странно,—запальчиво, обидевшись, чисто по-мальчишески выпалил Петька.

Солдат промолчал и молча, пренебрежительно, сплюнул в сторону.

— Тьфу...

Потом опять угрюмо глянул на Петьку.

— Бить, брат, тебя некому. Вот что скажу.

Но тут за Петьку вступился высокий худой рабочий в темной шапке, надвинутой на самые глаза.

— Ну, что ты его смущаешь? Пошел и пошел. И хорошо сделал. Чем он хуже нас с тобой?

Рабочий говорил громко, бодро и, чтобы согреться, подпрыгивал, нервно хлопал руками, а винтовку перекинул через плечо.

Вдруг в конце переулка началась сильная стрельба. Здесь все встрепенулись.

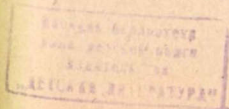
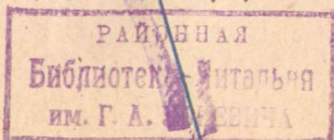
Бу-ух!..—вдруг ахнуло за домами и сразу резко свистнуло где-то около, как показалось, рядом.

Петька рванулся от неожиданности. Он увидел, как на дальнем углу обвалилась, будто плеснулась на мостовую, стена красного дома. Солдаты и рабочие, а вслед за ними и Петька кучей бросились бежать от угла по переулку, не понимая, что случилось. Но потом задержались, останавливались по одному.

— Из пушек бьют!—крикнули с противоположного угла,—держишься, товарищи.

Бу-ух!—ахнул новый выстрел.

Все опять дрогнули, но оправались быстро и, словно второй выстрел успокоил, пошли назад к углу.



Винтовочные выстрелы в Охотном загремели резко и часто.

— Наступают! Идут!..—крикнул кто-то из окон.

Тревога охватила всех. С угла напротив человек пять солдат побежали вверх по Тверской. За ними, громко стуча сапогами, бежали рабочие. Оставшиеся начали часто, пачками, бить по улице без цели. Из кучки, где был Петька, убежало человек десять. Осталось четверо. Петька, немного дрожа, ждал, когда покажутся враги. На дальнем углу закричали резко. Из-за дома, прямо на мостовую, выбежали люди в серых и синих шинелях и, стоя открыто, начали стрелять по улице и в тот угол, за которым прятался Петька.

— Вот они,—крикнул Петька,—идут!

Все, грохоча сапогами, побежали от углов по переулку.

— Сто-ой!!!

Крик, словно выс рел.

— Сто-ой, сволочь!

— Вояки, чорт вас. Назад! Убью!

У матроса лицо безумное: рот на бок, глаза—как пятаки.

И страшные ругательства с хрипотцой (что особенно страшно) всем на голову.

— Трусы! Рвань! Назад! Перестреляю всех!

И все будто в стену уперлись. Остановились, растерянно оглядываясь.

— Назад! За мной!

Сажеными прыжками матрос побежал через двор. Через двор проходной назад к углу, к Тверской. Первый побежал за ним Петька.

— Ура! Бей!—в ярости закричал о.з.

И, не сознавая, яростно выкрикивал ругательства. Он видел только, как вились ленты—два хвостика, сплетающихся у затылка—на шапке матроса и метались у башмаков раструбы его черных брюк.

Вот угол. Матрос прыжком на мостовой: трах!—выстрелил. Петька подскочил к нему рядом и едва приложился, выстрелил в кучу народа, что виднелась на дальнем углу, в Охотном. Оба—матрос и Петька—стояли открыто, прямо на мостовой, стреляли в перегонки, яростно. У Петьки ходуном ходили руки. С угла, словно ветром, всех смело. Не видно никого. Но матрос, страшно ругавшийся при каждом выстреле, вдруг закачался, захлебнулся, открытым ртом ловил воздух и, сделав два шага к углу, упал на тротуар, щекою в грязь, и задергался в судорогах. Петька скакнул за угол.

— И этого убили, — закричал он навстречу бежавшим сюда солдатам и рабочим, — убили...

Те остановились и нерешительно издали смотрели на матроса. Петька подошел к ним: страшно было оставаться одному.

— Ага... Храбрился-то он больно, — сказал рабочий с рыжим шарфом, — вояки, говорит. Вот тебе теперь и повоюй.

Все столпились на самом углу, хмурились. Матрос лежал на боку, лицом к переулку, беспомощно разбросав руки и ноги. И тут только Петька успел рассмотреть его. Молодой, с маленькими черными усиками, волосы скобкой. Из открытого рта текла тоненькая струйка темной крови; виднелись зубы, покрытые темно-красной слюной; и рот казался страшным, до смерти пугающим. Глаза были полуоткрыты, и в них виднелись невылившиеся слезы. И все лицо было напряжено: словно матрос хотел вздохнуть полной грудью:

— Ох-хох...

И не мог.

С жутким любопытством смотрел Петька в его мертвое пугающее лицо. Народу к углу подходило все больше. Смотрели на матроса молча, не стреляли, и почему-то каждый прятал свои глаза от другого. Кто-то робко сказал:

— Убрать бы его.

И все разом оживились.

— Конечно, убрать надо. Убрать.

И задвигались, словно обрадовались, что нашли дело. Два солдата выскочили на тротуар, схватили убитого за руки и волоком затащили за угол, а отсюда понесли уже на руках. Петька поднял его шапку с черными лентами, на которых было написано „Тральщик“, и понес было вслед за матросом. Но потом положил ее убитому на грудь и вернулся к углу. На том месте, где лежал матрос, валялась винтовка, из которой тот стрелял, и всюду около—золотистые гильзы патронов.

— Вот что делают, буржуи проклятые!—злобно бросил рабочий.

Все хмурились. Лица у всех посерели, исказились.

Рабочие и солдаты перебрасывались тяжелыми каменными словами. Стрельба теперь велась лениво. Кругом было гулко, тихо, и в тишине выстрелы перекатывались, как дальний гром. Петька заметил, что в доме напротив все окна занавешены. А одна штора шевелится. Выстрел, другой, тишина. Еще выстрел, тишина.

Вдруг в тишине ухо поймало глухое шипение и фырк.

— Стой, ребята, кажись, автомобиль! — востропелся юркий солдат и, взяв винтовку наперевес, поспешно подошел к самому углу и украдкой выглянул туда, к Охотному.

Все стали прислушиваться. Шум становился яснее.

— Верно: автомобиль. А ну-ка, поглядим...

И все сразу оживились, сгрудились на самом углу приготовив винтовки.

Из-за угла Охотного вышел грузовой автомобиль, на котором стоя и сидя ехали вооруженные люди в синих и серых шинелях. Винтовки беспорядочно торчали во все стороны. Ползучая ваза: винтовки, головы, руки, синие и серые шинели—точно цветы. Он полз к другому углу, хотел скрыться.

Петька, рабочие и солдаты, торопливо наседая один на другого, прицелились, залпом выстрелили в него. Автомобиль дернулся и остановился; из машины брызнула белая струя; на нем судорожно заметались люди.

— А-а-а!.. — торжествующе заревел нечеловеческий голос рядом с Петькой.

И рев толкнул всех. Солдаты и рабочие выскочили на мостовую и, стоя здесь кучами, не думая об опасности, начали стрелять по автомобилю. Из-за соседнего угла пробежали еще солдаты, еще рабочие. Все стреляли с судорожным азартом. Петька видел, как там люди клубками падали на мостовую, на дно автомобиля, судорожно металась, стараясь прятаться за колеса и за борта; видел, как летели щепки, отбитые от деревянных бортов автомобиля. И острая неиспытанная радость душила его.

— Бей их! Лупи!—орали здесь, около.

— Бей!—орал Петька, уже не чувствуя себя, и стрелял без передышки, едва успевая заряжать.

Прошла, может быть, только минута; автомобиль стоял разбитый, и никто уже не шевелился ни на нем, ни около него.

Двигались порывисто. Подмигивали задорно, упоенные победой. С любопытством смотрели на автомобиль... Тихо, мертво. Просто!..

Огневое схлынуло.

А все смотрели—ждали, что будет дальше. Из-за угла, из-за красного дома, высунулся белый флаг с широким красным крестом, закачался на палке, вверх-вниз, вверх-вниз, продвинулся над тротуаром, и показалась рука в кожаном рукаве—рука держала флаг, махала. Так долго, может быть, целую минуту, рука махала. Из-за угла вышла девушка в кожаной куртке—на рукаве рдеет крест—и голова в белой косынке. Она пошла к автомобилю открыто и несла флаг над головой. Вот положила его на разбитый борт, пошла вокруг, нагибаясь к колесам, у которых лежали слутанные кучи—будто мешки. Девушка от одной кучи к другой наклонялась, трогала их рукой и обходила медленно и молча.

А здесь, затаив дыхание, напряженно смотрели на нее рабочие, солдаты, Петька.

Девушка что-то крикнула, махнула рукой. Из-за угла плывущим шагом вышли двое солдат с повязками на рукавах—к автомобилю. Над чем-то наклонились, потом один подставил спину, другой поднял неуклюжий мешок в шинели, внизу болтались сапоги, и положил первому на спину. Так начали они носить убитых...

Поднимали их с земли, вытаскивали из автомобиля, клали на спину и, сгибаясь, тащили за угол...

Трах!

Это на дальнем углу выстрелили. И сразу здесь на всех лицах мелькнуло упорство и напряженность. Все защелкали затворами, задвигались. К углу подошел

торопливо солдат с черненькой острой бородкой. Он сказал торопливо:

— Сейчас наступление, товарищи, готовься.

— Наступление,—проговорил про себя Петька,— наступление.

Под ложечкой у него задрожало. Он заюркал туда-сюда,—искал места, где бы стать, так как думал, что наступление—обязательно итти рядами.

— Наши обходят дворами. Как начнется стрельба, мы...

Но не договорил: там, на углу, сразу закипела стрельба. Солдат метнулся в улицу и тротуаром, не оглядываясь, побежал к Охотному. Петька дрогнул, заревел „ура“ и за ним. И враз перегнал. Один впереди всех, сломя голову, бежал, а навстречу ему несло горячее—может быть, воздух, может быть, пули,—и ветер визжал в ушах...

Остановился он только на углу, у красного дома, видел, как вниз по Моховой бежали синие и серые шинели, и три раза успел им выстрелить вслед.

Взволнованный и торжествующий, он взобрался на крыльцо охотнорядской часовни, чтобы оттуда лучше и подальше видеть. Охотный ряд, Театральная площадь и улица вдали—все было пусто. Из-за лавочек начали выползать люди—больше мальчишки, и темной массой затопились на углах. Они с любопытством, точно на диковинку, смотрели на солдат и рабочих, рассматривали расстрелянный залитый кровью автомобиль, стоявший на перекрестке. Мальчишки отдирали щепки от бортов, собирали гильзы патронов. Потом толпа смешалась с вооруженными солдатами и рабочими. Три мальчугана, лет по десяти, остановились перед Петькой и с завистью смотрели на него.

— Дай пострелять,—попросил один.

Петьку жестоко оскорбила такая просьба.

— Уйди!—грозно крикнул он на мальчугана и, при-
слонившись к каменному парапету часовни и держа вин-
товку на-перевес, решительно и сердито закричал:

— Частные которые, расходишь! Стрелять буду!

И выстрелил вверх.

Толпа шарахнулась. Даже солдаты и рабочие, что
с винтовками, дрогнули и метнулись.

— Расходишь, расходишь!—раздались тревожные крики.

В одну минуту ветер смел толпу. Было видно, как
перепуганные люди мечутся между лавками, прячутся...
Солдаты и рабочие сгрудились около угла. Петька один
остался на крыльце часовни. Кругом никого. Свои вон
на углу, за разбитым автомобилем.

Задышающийся, добежал он до рабочих. Его страх
передался и другим: здесь все стояли, судорожно сжимая
винтовки, готовые каждую минуту дать отпор. Но прошла
минута, и напряжение исчезло.

— Кажись, сами себя напугали,—сказал чей-то на-
смешливый голос,—здесь никого нет.

— Есть,—отозвался Петька.

— Где?

Петька и сам не знал, где враги, но махнул рукой
куда-то.

— Там.

Вдруг где-то близко, за углом, ахнул резкий выстрел,
за ним другой, третий. Рабочие и солдаты шарахнулись
к стене.

Стрельба прекратилась. Солдаты и рабочие собрались
у часовни и, мирно переговариваясь, стояли, курили,
забыв об опасности. И опять, словно тараканы сквозь

щели, к ним подошли один по одному мальчишки из охотнорядских лавчонок, пришло несколько мужчин, и кругом зачернела толпа. Мальчуганы, как собачонки, шныряли в толпе, собирали расстрелянные гильзы. Стало покойнее.

— Идут юнкеря!—вдруг резко крикнул из-за часовни детский голос.

И в тот же момент кругом часовни и на улице грянули частые выстрелы. Толпа завывала, заметалась. Мальчишки падали на землю, бежали, на четвереньках ползли к лавкам. Дрожа всем телом, Петька попытался, приседая, пробежать к углу Тверской, но едва выбежал из-за часовни, как попал под выстрелы и упал раненый. Он увидел, что из ворот соседних домов поодиночке и группами бегут юнкера и студенты с винтовками наперевес и что на всех соседних крышах виднеются фигуры людей с винтовками. Петьке казалось, что все, кто засел на крышах, целят прямо в него. Он потянулся назад, на крыльцо часовни, под защиту стены. На бегу юнкера и студенты в упор стреляли в солдат и рабочих. У самого угла часовни, на грязных, покрытых осенней слякотью плитах тротуара, уже лежало несколько человек, судорожно корчившихся и кричавших, а рядом с ними валялись брошенные винтовки. Несколько солдат плотно прижались к стенам часовни и стреляли в юнкеров. А те цепью бежали прямо на них. Петька будто в полудреме видел, как юнкера штыками с размаха тыкали солдат, а те дико выли и хрипели и руками пытались ловить штыки, или сами стреляли в юнкеров на расстоянии двух шагов.

Забыв, что можно еще стрелять и сопротивляться, Петька прижался к стене и крепко уперся в холодные

камни. Широкими от ужаса глазами он смотрел на юнкеров, которые около него расстреливали мечущихся солдат и рабочих, и ждал, замерев. Два юнкера пробежали совсем близко. Один на бегу вскинул винтовку и прицелился в голову Петьке. Петька ясно увидел его темные круглые глаза. Блеснул яркий огонь. Но выстрела Петька не услышал.

И. СКОРИНКО

ШАРКОВ

I

Все знали, что командир третьей роты особыми военными данными не обладал, но рота была примерная. Вид бравый и бодрый. Песни пелись с особым удаливством. А на занятиях рота поражала всех своей дисциплинированностью. И виной всему был Шарков.

Красноармейцам до его приезда было известно о нем, только как о члене Комсомола, мобилизованном на фронт. А когда ротный представил его, как политрука, то красноармейцы недоумевающе посмотрели на него, а затем устали на землю.

Шаркову было всего только шестнадцать лет. Ростом он был маленький, телом тщедушный и, если обращал на себя внимание, то исключительно своим костюмом.

На голове у него была нахлобучена почерневшая от времени „буденовка“, одна звезда которой могла бы закрыть ему лицо. Гимнастерку он носил с подрезанными рукавами. Снимал ее, не расстегивая ворота—она была ему достаточно широка. Ботинки были до безобразия велики, с загнутыми, как у персидских туфель, носами.

Шарков встал на стол и, не смущаясь своего детского голоса, звонко крикнул: „Внимание!“ Снял „буденовку“ и, погладив волосы, принялся говорить.

— Слышь,—толкнул Мелов своего соседа,—лучше военкома говорит.

— Не мешай!—недовольно оборвал сосед.— А как в бою-то их...

А Шарков воодушевлялся с каждой фразой.

Он кончил. Громкие аплодисменты, от которых дрожали стекла и стены, чуть не оглушили его. Он понял, что теперь среди красноармейцев он будет пользоваться уважением.

С этого времени Шарков сделался любимцем роты. Что любимцем! Любимцем может быть хороший запевала или силач. Шарков стал авторитетом, гордостью роты. Если красноармеец рассказывал о хорошем ораторе, он давал такое определение:

— За душу трогает и понятен, как наш маленький политрук.

Первой заботой роты явилось обмундирование Шаркова. Мелов, бывший сапожник, нашел где-то старые сапоги и приспособил их на Шаркова. Он же, недавно получив новые шаровары, отдал их для этой цели портному. Таким образом Шарков был одет.

Каждый день в роте им производились собеседования на разные темы. От них никто не уклонялся.

Шарков был не чужд и мальчишеских выходок. Это еще больше привлекало к нему молодых красноармейцев.

За несколько дней до выхода полка на позиции, в музыкантской команде проснувшиеся музыканты увидели у барабанщика вместо сливообразного багрового носа черный, отдающий глянцем. Разбуженный барабан-

щик, увидев себя в зеркало, только ахнул от ужаса и заорал неестественным голосом:

— Воды! воды!

Но вода не помогла. Холодную воду заменила горячая, вазелин, сало, но нос был блестяще черен, как лакированный ботинок.

— Хорошо, если краска скоро пройдет. А вдруг останется навсегда?— всхлипывал барабанщик, подавший рапорт о „болезни“.

Ротный командир несколько дней млея от восторженного ожидания, получая полные любви и сладостных обещаний письма от таинственной „влюбленной казачки“. И никто не знал, кто является виновником, хотя лукавый огонек в глазах у Шаркова мог многое об'яснить.

Через две недели после приезда Шаркова полк уходил на фронт.

Шарков, забывший о своих проказах, шагал и умиленно смотрел на свою роту, с энтузиазмом певшую:

Мы светлый путь
Куюм народу.
Свободу лучшую куюм!

II

— Идет! Идет!—шептал Шарков трем красноармейцам, прячась за холмы, при виде взбирающихся шести белогвардейцев.— Без моей команды не стрелять! Слышите?

Забравшись в яму, красные приловчились к стрельбе и притаили дыхание. Между тем белые уже взбирались на вершину холма.

— Ай! ай! ай! Как вы неосторожно гуляете по советской земле! — качая головой, укоризненно воскликнул

Шарков и, не дав опомниться, громко крикнул:—Ребята, пли!

Раздался дружный залп, и двое, взмахнув руками, упали.

— Взвод, пли!

Еще залп, и трое покатались с холма. Последний бросился за перевал.

— Пускай бежит,—спокойно остановил Шарков поднявшегося Мелова.—Иди сообщи, что секретом подстрелены пять белых разведчиков.

Через два дня, вечером, когда багровое солнце опустилось ближе к горизонту и с востока подул слабый ветерок, со стороны белых послышался злобный визг шрапнели, разорвавшейся в расположении полка. Не было сомнений—белые готовились наступать.

Пока ротный отдавал распоряжения, Шарков доигрывал партию в шашки. Выиграв ее, он стряхнул пыль с брюк, взял патроны, винтовку и лег в середине цепи.

— Шарик! Шарик! Идите к нам за кочку! Все безопасней,—звали его красноармейцы.

— Нет. Я буду здесь. Помните, товарищи! Ваша победа радостно отзовется в сердцах бедняков всего мира!

Это были его последние слова.

В пылу боя, нагнувшись за обоймой, Мелов неожиданно увидал Шаркова, который недвижимо лежал навзничь, лицом кверху, выставив глазные впадины, доверху наполненные запекшейся уже кровью. Не веря глазам, Мелов прикоснулся к груди Шаркова и, внезапно вскочив, дрожащим от злобы и подступающих слез голосом отчаянно закричал:

— Убили, подлые! О, Шарков!

— Шаркова убили. Убили Шаркова.

Без всякой команды, полные злобы и неумолимой решимости, бросались красноармейцы на противника, стреляя, отбиваясь прикладом и мысленно твердя: „За маленького политрука“.

Кончен бой, но не радуется победа. Тенью ходят красноармейцы. Грустно чувствовали они утрату своего любимого молодого товарища.

Ф. ГЛАДКОВ

МАЛЬЧИШКА

Пришли на площадь и расположились привалом на бульваре, возле церкви, против школы. Казаки, солдаты и верховые прибывали группами из всех улиц. Пленных отвели в сторону на открытое место, к концу бульвара. Всем велено было сесть и разуться. Покорно, с ужасом в обалделых глазах, дрожащими руками сняли обувку. Подошел волосатый черкес и стал откидывать обувку в сторону, в кучу. Потом приказали скинуть штаны, куртки и пиджаки. И это они сделали так же обреченно и покорно, с тем же неугасимым ужасом в глазах. Тот же черкес собрал все это в охапку и отнес в ту же кучу, где лежала обувь. Титка стоял неподвижно и смотрел на детей, играющих в школьном дворе. Не разувался и не раздевался, как другие — не слышал. Подошел черкес, толкнул его прикладом:

— Испалнай прыказ!.. Снимай шмак-башмак, тарабар-шаровар!.. Балшавык-манышавык!..

С удивлением посмотрел на него Титка. Отвернулся и засунул руки в карманы. Черкес рассвирепел и ударил

его прикладом в спину. Титку отшибло, и он закрутился на месте, но не упал.

— Саньмай, балшавык-собака!..

Опять посмотрел на него с изумлением Титка. Понял. Сказал тихо и уверенно:

— Не сниму... Снимай, когда дрягаться не буду...

Черкес стал серым, ооскалил зубы и опять замахнулся на него прикладом, но, встретив взгляд Титки, остановился. Не сводя с него глаз, опустил ружье. Медленно повернулся и пошел прочь, бормоча по-своему.

Пришла партия офицеров с новыми пленниками. Опять все были свои—городовики ¹⁾. Среди них Титка увидел мальчика (его он встретил у ревкома) и старуху Передериху, ту самую, которая недавно ударила палкой по голове генерала, захваченного в соседней станице, и плюнула ему в лицо. Она стыдливо улыбалась, бродила среди толпы и бормотала одно и то же:

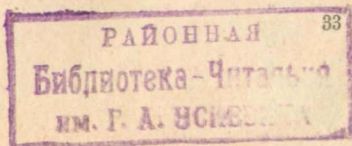
— Та люди ж добри!.. Чего ж воны визьмут з мене? Бо я ж стара та слипа... стара та слипа... Та у мене ж обадва сыни на войны вбыти... сгыблы ж на горьманскому... А я—стара та слипа... Чего з мене?

И никак не могла успокоиться.

На дворе школы играли двое мальчиков. Один—лет шести, с длинными белокурыми кудрями, в черном костюмчике, а другой—серенький, чеверелый, грязненький, должно быть, сынишка сторожа. Бросали мячик в стенку здания.

Сочно, заливчато смеялись, толкали друг друга и ссорились. А Передериха все бродила между пленниками, сидящими в нижнем белье, и все бормотала надрывно одно и то же, как дурочка:

¹⁾ Не коренные казаки, а пришлые, в большинстве бедняки.



— Та скажить мени, люди добри!.. Бо я стара та слипа. Ей попржежнему не отвечали: должно быть, не видали и не слышали ее.

Раздалась где-то в стороне команда, ей ближе откликнулась другая,—эко. Офицеры и казаки, отдохавшие под тенью тополей, вскочили, быстро построились в две шеренги и, держа у ног винтовки, повернули головы в улицу. К бульвару под'езжал седой генерал в белой папаче, в белой черкеске, на белой лошади...

— Смирна!..

Генерал под'ехал к строю и что-то невнятно и небрежно пробормотал.

— Здра-жла ваш-при-ство!..

Генерал проехал вдоль строя, и Титка услышал, как он строго и холодно сказал:

— Спасибо, ребята, за прекрасную работу!

— Рад-страт-ваш-при-ство!..

Генерал подозвал офицера и что-то опять тихо пробормотал ему. Офицер суетливо бросился к огороже бульгара и крикнул:

— Эй, вы, азиаты!.. Волоки их сюда!.. Жи о!..

Черкесы вскинули винтовки на плечи и взмахнули руками.

— Арря!..

Поднялись гуртом овечьим и побрели вместе с конвоинными к генералу. При входе на бульвар генерал взмахнул нагайкой и гановил их. В'ехал в самую середину толпы. Пленников расставили полукругом. Откуда-то внезапно подошли станичники и стали таким же полукругом за конвоем.

— Почему захвачен мальчишка? А ну, чертенок, кто ты такой?

— Свой... немазанный—сухой...

— Как?



З. Толкачев.

Либкнехты!

— Так... попал дурак впросак... Не все дураки—есть и умные...

— Что-о?.. Поросенок!..

В толпе блеснула улыбка.

— Откуда мальчишка?

— Захвачен за станицей с оружием в руках...

— Почему с оружием?.. Откуда у тебя оружие?..

Мальчик прямо смотрел на генерала, оглядывался на товарищей и улыбался. Увидел Титку, обрадовался и кивнул головой: „Ни чорта, мол... не бойся!..“

— Откуда у тебя оружие?.. Вместе с большевиками был?.. Что делал за станицей?

— Сорок стрелял...

— Как это—сорок?

— А так... сорок-белобок... С кадет сбивал эполет...

Мальчик продолжал смотреть на генерала дерзко и озорно.

— Поручик!—генерал взмахнул нагайкой.

Поручик взял мальчика за рукав и потянул из толпы. Мальчик озлился, вырвал рукав из рук офицера. Заложил руки в карманы, взметнул звериными глазами. На бледном лице дрожали насупленные брови. Мускулы на щеках напряглись и сплетались веревочками...

— Ну, иди, иди!..

— Не тревожь!.. Не цапаты!..

— Ах ты, урод этакий!.. Кубышка!..

— А ты не цапай... Мерзавцы! Мало я вас пере-стрелял..

Офицер с изумлением взглянул на мальчика.

— Ах, комарья пипка...

С усмешкой взял его за ухо. Мальчик взметнулся змейкой.

— Не смей трогать, белый барбос!..

Офицер нахмурился и покраснел. И непонятно было: не то он был оскорблен, не то просто смутился. Они пристально посмотрели друг другу в глаза и нутром, в одном мимолетном мгновении, почувствовали, что оба обречены, что оба летят в бездну, что они—ничтожные пылинки в стихийных волнах великого урагана. Отвернулся офицер, молча и хмуро подвел его к старухе и поставил около черкеса с винтовкой.

Титка слышал, как кто-то взял его за рукав и, царапая ногтями по руке, потащил на бульвар. Около него шло огромное существо, тяжелое, как глыба, и смердило потом, перегорелым спиртом и горклой махоркой. Ему стало лихо, непереносно.

— Брысь, чувал!.. Сам пойду..

Казак засопел и захлебнулся слюною.

— Убью, сукин сын!

Широкими шагами зашагал вперед Титка, не оглядываясь. Пела кровь в волнах и взмахах сердца. Подбрасывал его неудержимый плавный прибой силы и упоения. Было похоже, что он качается в огромной качели и видит, как колышаются и плавают тополи и облака на лазури. Далеко, не то на той стороне, за рекой, не то в глубине его души, большая толпа пела необ'ятную песню, и песня эта—волны призрачно далеких колоколов... Качался Титка в невидимой качели, и вместе с ним колыхалось все солнечным туманом, а в такт этому колыханью волновался и струился из бесконечности песенный звон.

Мальчик теребил его за руку. Дрожал знобисто и лязгал зубами.

— Я им не позволю цапать!.. Я не какая-нибудь слюнявка... рачка-соплячка... Много я ихнего брата перестрелял... Стрелять—стреляй, а цапать—не цапай!..

Шмыгнул носом и не отрывал странно очарованных глаз от толпы.

— Тебя зовут Тит, да?.. А меня—Борис, значит—борись... Мы будем вместе с тобой... Когда нас будут стрелять, мы будем рядом... Хорошо?..

— Я хочу пить...—сказал Титка и все прислушивался к песенному прибою волн.

Генерал уехал, и толпу пленников повели вслед за ним по улице, к реке.

Подошли четверо казаков с нагайками, молодые, веселые ребята. Они скалили зубы, как озорники, и ломались около Передерихи. Один из них взял ее под руку и, изображая из себя кавалера, потащил к скамье под тополем. Остальные трое шли за ними и надрывались от хохота. Передериха бормотала, полоумная:

— Та я ж слипа та глуха... хлопчата!.. Хиба ж я—дивка? Вы ж таки гарны, та веселы... веселы та гарны..

Передериху посадили на скамью. И тот казак, который вел ее, гавкнул хрипло и остервенело:

— Ложись!..

Передериха опять плаксиво забормотала. Казак жвыкнул нагайкой. Передериха завывала и онемела. Казак толкнул ее. Она упала на скамью и осталась неподвижной. Двое других задрали ей на спину юбку, и Титка увидел дряблые ноги с перевязочками под коленками и сухие старческие бедра.

— Катай ее, старую стерву!..

Один казак сел на ее черные босые ноги, а другой опирался руками на голову. Третий с искаженным лицом в иступлении шлепал нагайкой по сухому заду. Она глухо и надсадно хрипела, харкала, и тело сводила судорога. Скоро она замолчала. А казак все еще хлестал

ее, и при каждом ударе из оскаленного рта вылетали захлебывающиеся вздохи:

— Х-хек!.. х-хек!..

И лица коверкались неудержимой улыбкою пьяного наслаждения.

Тот, который сидел на ногах, слез со скамьи и махнул рукою.

— Стой, хлопцы!..

Казачки стали завертывать цыгарки. Один вытащил из кармана веревку, стал на скамью и начал торопливо и ловко укреплять ее на суку тополя.

— А ну, хлопцы!.. Треба по писанию...

Казак задрал старухе юбку вплоть до живота, сделал ее мешком, спрятал в ней руки Передерики и подол завязал узлом. Двое подняли ее, и первый накинул на голову веревку.

— Есть качеля!..

И пошли прочь.

— Дураки-сороки!.. Куркули ¹⁾. Вздернули бабку—тащите тряпку... Тряпичники!.. Барахольники!..

Это мальчик засмеялся визгливо.

Казачки оглянулись. Растерянно потоптались на месте и заматершинничали. Один из них погрозил нагайкой.

— Ото ж тоби загецкают пробку в глотку...

— Сороки-белобоки!.. Бабы палачи!..

Со стороны реки загрохали выстрелы, и вслед за ними завывла в разброд толпа, и было непонятно: не то это эхо металось по реке, не то по-животному рычали умирающие. И опять рассыпанным залпом барабанно захлопали выстрелы, и опять — животный вой.

¹⁾ Богатеи, кулаки.

Два черкеса, что охраняли Титку и Бориса, подтолкнули их прикладами и погнали к церковной ограде. Мальчик шел прямо, как взрослый, только ежился,—ему было холодно. Часто сплевывал слюну. Откашливался, и в этом кашле слышался стонущий вскрик.

— Он думает, я боюсь... Много я вас перестрелял, мерзавцев... Плевать на вас хочу!.. Не бойся, Тит... шагай вместе... давай руку...

Титка слышал, как сквозь сон, и не понимал, что говорит мальчик. Чувствовал одно—идет куда-то, и не идет, а плывет, качается по волнам. Идет и плывет очень давно в густом огненном тумане. Время в глазах его было пламенно-желтое, ровной пучиной плывущее в бездонность горячей водопадной махиной, а в ней ныряли и билась, как видения, угловатые и косматые пятна, похожие на дома, на деревья, на облака, на пашни и дороги. И среди этой горячей пучины летели и вихрились золотыми пчелками неугасающие рои искр. Они пронизывали его насквозь и звенели струнно далекими зовущими колоколами.

Их поставили около ограды. Черкесы стали в нескольких шагах от них и оба разом наперебой скомандовали:

— Легай!.. Арря!..

Титка смутно слышал это и не понял, а мальчик забился около него, как связанный, и закричал в иступлении:

— Не лягу!.. Вот!.. Мы—оба!.. Вот!..

Черкесы вскинули винтовки, и крики мальчика унесли с собою два оглушительных взрыва.

ЮНЫЙ ГЕРОЙ

Была осень 1919 года. Добровольческая армия генерала Деникина стремительно наступала с юга—по направлению к Москве.

Я со своим полком занимал в ту пору боевую позицию в лесу, около села Маково.

Противник бездействовал,—только изредка шла ружейная перестрелка. А уж снег выпал, морозы по утрам ударяли изрядные.

Все тихо было, спокойно, и вдруг—противник открыл по нашим участкам артиллерийский огонь...

Ну, мы ничего, держимся. Вдруг подбегает ко мне Ванюшка—мальчуган—доброволец, лет 10. Маленький, щуплый такой.

— Товарищ командир!.. К нам одиночные люди перебегают из соседних частей.

— Что такое?

— Да сказывают, противник прорвал расположение их частей, части отступили и по лесу рассеялись...

Положение становилось тяжелым. Остаться так было невозможно. А тут—приказ от командира бригады уста-

новить связь с отступившим с позиции левофланговым полком.

— Вели, Ваня, лошадь седлать,—говорю.

— Товарищ командир! Возьмите меня с собой!

— Да ведь опасно, малыш! Одни поедем, без полка.

Ну, да ладно. Едем со мной,—говорю...

Как вскинется, ожил весь. Побежал свою лошаденку седлать.

Выехали мы с Ванюшкой в полдень. Пристали к нам два ординарца, возвращавшихся в полк. Усмехнулись, увидя Ванюшку со мной рядом.

— А, сынок! Шеф полка!—сказал один из них.—Ну, теперь держись, белогвардеец, ежели сам шеф полка су-против тебя выступил...

Ехали рысью лесом. И лес весь стонал от пулеметной и ружейной стрельбы. На опушке остановились, оглянулись. Железная дорога пересекала нам путь,—левее шла другая линия, пересекая первую. Невдалеке раскинулось Маково.

Вдруг Ванюшка вскрикнул:

— Смотрите, вон денкинцы!..

На горизонте виднелась конная цепь.

— Товарищ командир! Вы стойте тут, а мы втроем на них ударим,—сказал Ванюшка.

— Ну, вали, Ванюшка!..

И помчались мы в карьер—вчетвером. Выхватил Ванюшка шашку, над головой поднял. Да вдруг вижу, осаживает своего воронка...

— Товарищ командир,—кричит,—да это наши!..

И точно, это были наши конные разведчики. Подъехали к нам.

— Ну, счастье ваше, — говорит начальник команды, —
что вы на нас наехали. В том лесу вон, впереди нас,



Н. Струнников.

Красноармеец.

белая кавалерия. Полка два будет... Так бы в лапы к ним
и попались!..

Смотрим—из леса стали выделяться большие конные колонны противника.

Мы поскорее заняли удобный для обороны перекресток железных дорог.

Заметили нас,—и тотчас же артиллерия противника открыла ураганный огонь. А конница продолжала двигаться на нас.

Жутко становилось. Открыли и мы пулеметный огонь. И тут Ванюшка у нас отличился. Самый меткий огонь вел его пулемет.

Горсть наших была, а конницу белых обратили-таки в бегство.

Стало темнеть. И тут прибыло к нам 11 орудий и приказ командира бригады: во что бы то ни стало удерживать перекресток дорог до подхода подкрепления.

К ночи буря поднялась, метель. До костей холод пронизывает. А укрыться негде. Да и проголодались все мы здорово.

Ворчать стали красноармейцы.

— Ладно! Ладно!—успокаивал их Ванюшка. — Потерпеть надо! Мне-то не холодно разве? А терплю!.. Да погодите, какую я штуку удумал.

Хватился я Ванюшки через несколько минут, а его и след простыл... Что за диковина такая?

В полночь является вдруг ко мне—еле живой.

— Ну, товарищ командир, а я ведь там, под селом Маковым, был. Белые-то его заняли. Только вы обождите обстреливать,—пускай они спать улягутся. Тогда мы их врасплох застанем.

Послушался я Ванюшки. А под самое утро направил мощный огонь по селу. Так живо выбросили белых из

села. В одном белье, на неоседланных лошадях удирали куда попало!..

Бросились наши вдогонку за ними. А Ванюшка—впереди всех...

К вечеру следующего дня положение на прорванном участке было восстановлено, мы оставили памятный для нас перекресток железных дорог и вернулись к месту стоянки полкового штаба.

Мы подвигались на юг, и сопротивление противника день ото дня все больше и больше выдыхалось.

Прошли всю среднюю полосу, а противник уже бежал и день и ночь. Вышли мы на необъятный простор Таврии и еще быстрее погнались врага.

Ванюшка при мне неотлучно.

— Вот,—говорит,—как я теперь привык, кажется, век красноармейцем был.

— А по родителям не скучаешь?—спрашиваю.

— А чего скучать? Отец, поди, все еще на Мариупольском заводе служит. Если меня не убьют, я потом учиться пойду, помогать ему стану.

— Хочешь, отправлю тебя учиться?—предлагаю.

— Да что вы, товарищ командир, не до ученья теперь,—надо белогвардейцев бить. А то они нас из школ повыгонят. Вот когда усмирим их,—тогда учиться. А теперь я из полка не пойду!..

Добровольческая армия бежала в разных направлениях.

Нам досталось настигнуть стремительно отступавшего к Ченгорскому полуострову неприятеля и на плечах его ворваться в Крым.

В самый новый 1920 год настигли мы неприятеля в районе села Ново-Григорьевки.

С крупными конными силами столкнулись мы. Огромное количество пулеметов ввели белые в бой. Атакующие батальоны залегли под огнем противника. Нельзя было передать приказания по всей цепи.

Вот тут-то мой Ванюшка опять превзошел себя. Кто его знает—как, а только он один, на своей маленькой лошадке, метеором носился с моими приказаниями по цепи бойцов. И ведь ни разу ранен не был.

Одному батальону надо было перейти в атаку. Да убийственный огонь приковывал всех к земле. Шлю им письменный приказ. Ванюшка подскакал к командиру.

— Товарищ командир,—кричит,—полно вам мандраже задавать. Встаньте! Вот приказ вам.

— Давай сюда!—говорит командир лежа.

— Да встаньте, товарищ командир. Расписаться надо!.. Видите, лошадь у меня под огнем не стоит.

— Ах, паршивый чертенок!—проворчал батальонный и встал.

А за ним и рота поднялась,—думали, что командир им сигнал подал, и с криком „ура“ бросились в атаку.

И ведь сбили мы тогда противника. В бегство ударился... Весь полк успех этого боя приписал моему Ванюшке. Ведь он хитростью людей поднял!..

Ночью пришли мы в Ново-Григорьевку. Погода—снежно-мокрая. Дороги от грязи разбухли.

До костей пронизывал ветер с моря. Люди коченели на заставах; патрули вязли в грязи.

Ночью пошел я проверять заставы. Вдруг детский окрик:

— Стой! Кто идет?..

Остановился.

— А, это вы, товарищ командир? А это—я, Ванюшка! Передо мной, по пояс в грязи, на стуже, стоял карапуз, охраняющий покой полка.

— Кто же тебя в караул назначил?—спрашиваю.

— Кто? Да сам пошел. Все устали, измокли,—отдохнуть желательно. Ну, я и пошел. Идите вы-то, а то застудитесь. Я-то заболею—ничего, а без вас полку плохо будет!..

Мечтал Ванюшка побывать и в Крыму и там понюхать порохового дыму. Да не удалось ему.

Когда два полка нашей бригады двинулись в начале февраля в Крым, его полк оставался в резерве.

Началась для Ванюшки скучная позиционная жизнь. И не вынес он ее. Всю весну и начало лета скучал, хандрил от безделья. А летом не выдержал. Хоть и заманчивы были предложения ему со стороны командования полком, а он наотрез отказался от всего и ушел. Ушел,—говорили мне,—разыскивать своих родителей, которых оставил в Мариуполе.

* Где-то теперь мой юный герой Ванюшка?..

ГЕОРГИЙ НИКИФОРОВ

ЮНЫЙ МАШИНИСТ

I

Летом Кольку в школу не заманишь. Ну ее, арифметику эту самую, к чертям оловянным...

Ребята на экскурсию, цветочки собирать, жучков ловить, а Колька с отцом на паровоз.

На паровозе краники разные, вентиля, рычаги медью поблескивают. Пристроится Колька на стуле откидном и смотрит, как отец с помощником орудуют.

На станции в окне паровозной будки топорщится, интересно сверху наблюдать, как пассажиры бегают, будто муравьи, которых из крана кипятком ошпарили, суетятся и орут.

— Митревна, Митревна, полезай сюда.

— Где билет-от? Аль я тебе его сунула?

— Да ползи ты скорей, кулема, анафить-те!

— Граждане, сторонись.

— Пиши, Клавдинька! Не забывай, милая!

— Безобразие! Начальство тоже, товарищи...

— Эх, ну и народу! И куда прут только, якрить их.

Обер смотрит, смотрит, вынет свисток, да ка-ак хлестанет: фррю-ю-ю.

Отец сейчас же: гу-ук, чш-фф.

Паровоз вздрогнет, двинет раз-другой плечами могучими и руками часто-часто: ча! ча! ча! — и пошел.

— Эх, запузыривай, навертывай, качай!

Раньше по стрелкам: от-ойди, от-ойди, а как вышел за станцию, начал под уклон завихаривать, на стыках: трык-трык, трык-трык.

Телеграфные столбы спьяну кувырком летят, ветер-озорник в лицо песком хлещет, лес с перепугу в облака ползет, встречные деревеньки в пляс пошли, а паровоз как ахнет широкой медной пастью: у-у-ух, сторони-ись, мелкота...

У Кольки сердце от восторга в разные стороны кидается, выскочить хочет.

Часто Колька с отцом раз'езжает. Мчится змейкой среди гор Уральских длинный поезд, ныряет в глубокие выемки среди каменных скал, бежит по высоким обрывистым уклонам, а внизу далеко-далеко речушки серебром поблескивают. В низинах по утрам голубые прозрачные туманы ползут, а сверху солнце огненными пальцами горные трещины прощупывает. Холмы, как огромные морские волны, застыли в далекой синеве; среди огромных мохнатых пихт и сосен поселки прячутся и издали стеклами окон подмигивают; в долинах будто бы платки узорные разостланы, разными цветами переливаются.

Привык Колька к паровозу, знает, как воды накачать, топку разжечь, как регулятором действовать, чтоб машину в ход пустить. У отца научился. И старый помощник Лукич рассказывает.

В дни отдыха Кольке невтерпеж, минуты дома не усидит и все около железнодорожного депо шебуняет, по путям. Взгромоздится Колька на высокую насыпь пути и любит, как паровозы между вагонами хозяйничают, порядок устанавливают.

Внизу все в разные стороны ползет, и кажется Кольке, что это сама земля раз'ехалась и бежать собирается. Паровозы, как хорошие пастухи среди стада, весело так посвистывают, мелкоту по углам разгоняют, покрупней к середине жмут, а промеж вагонов разговор идет: тук-тук-тук, тебя куда? тебя куда? тебя куда? трям-блям, чебурдых. Тут же люди снуют к вагонам, как слепни льнут.

Хорошо Кольке, высказать невозможно...

Вверху солнышко болтается, будто его за ниточку дергают, со стороны депо нефтью попахивает, потянешь носом, дышишь и не надышишься—арома-ат.

К вечеру Колька домой появляется, мать зудит:

— Ты у меня достукаешься, уж я тебя вз'ерепеню когда-нибудь, подожди у меня.. ты у меня..

Эх, не слушал бы, только отец и поддержит.

— Ну, ладно, мать, чего уж там.

II

В середине лета хозяйкин сын Аркашка вдруг задаться начал. Коротыш чортов, выставит свой самовар, руки назад и расхаживает по двору. Хотел Колька отволторить его, чтоб не заедался, только отца побоялся, рассердится—на паровоз брать перестанет.

Мать Аркашкина тоже в занозу норовит, покрикивать на квартирантов начала:

— Убирайте свои дудоры ¹⁾. Скоро всех вас к шаху-монаху отсюда.

Потом зачали к матери Колькиной жены рабочих бегать, всплескивают руками и стрекочат:

— Батюшки мои, что ж делать-то?

— Утекать надо...

— И сколь их идет этих чехо-словаков разных, страсть...

— Казара-то вся с ними.

— Ох, что будет только.

А отец Колькин ходит себе ни тинь, тилилинь.

Смелый, ничего не боится. Если же разговоры о чехо-словаках услышит, брови к переносице сведет, и желваки на щеках забегают. Дома редко бывает, все время на дежурстве в депо и от Кольки скрывает, когда надо в поездку отправляться, но Колька сторожит и даже из дежурки не уходит.

Утром отец в бок Кольку толкает и говорит:

— Ну-ка, сныч, живо, со штабным отправляемся, да уж брать ли тебя? Катай-ка лучше домой.

У Кольки сердце вжик, будто в погреб со льдом, а на глазах даже слезы заискрились.

Просить стал:

— Как же, папка, охота ведь...

Лукич, спасибо, подталдыкнул:

— Возьмем, что за беда, не помешает.

На станции всего четыре вагона зацепили. Лукич так пару подогнал, что паровоз по-лошадиному пофыркивать начал и ально ²⁾ дрожит весь.

¹⁾ Пожитки.

²⁾ Ально—даже, так что.

— Ну, Колька, — смеется Лукич, — держись только, катанем сейчас. А отец около паровоза ходит, гайки кропит и из масленки поливает.

На площадках вагонов красноармейцы с винтовками встали. От станции Вердяушь к Златоусту на под'ем к вечеру только доползли, кругом темно было, лишь около станции несколько фонарей ныряло в тумане. Приехали и сейчас же на круг, паровоз повернули в обратную сторону, опять прицепились и так до утра простояли все время под парами. Колька на тендере, свернувшись калачиком, спал, а отец с Лукичом по переменкам дежурили.

Чуть солнышко из-за гор, а Колька уже на ногах. Выглянул из будки: тишина и народу никого, одни красноармейцы с площадок вагонов штыками поблескивают. В топке ревели во-всю, отец около краников и вентиляей хлопотал.

— Папка, чай будет?

— Чай—вон он, хлеба нет только. Лукич пошел.

— Скоро отправимся, што ли?

— Что надоело тебе?

— Нет, я станцию посмотреть хочу сбегать, больно хорошо тут, во-он гора виднеется, выше как у нас, это какая?

— Таганай.

— Таган-ай... Папка, я сбегаю туда, а?

— Эка, ты что думаешь, она рядом? До нее верст десять, язык высунешь бежать-то.

— Ну, я на станцию.

— На станцию валяй, живо только, а то без тебя отправимся.

Соскочил Колька и вдоль пути к станции в карьер поскакал. На платформе пусто, только станционный сторож один, сидя на ящике около дверей, на солнечном пригреве, дремал и тыкался перед собою носом. Колька мимо его внутрь станции прошел. Здесь на полу, на столах, скамейках и на буфетной стойке спали рабочие и красноармейцы, в углах стояли винтовки. Духота была нестерпимая, спертый воздух не успевал выходить в открытую форточку. Большие мухи сонно гудели и бились о стекла. Колька тем же ходом повернул обратно и, обжав здание станции, нырнул в станционный садик. Здесь тоже спали красноармейцы, укрывшись грязными рваными шинелями, а около ходили чьи-то козы и глодали кустарники сирени и акации. Прошел Колька дальше, на горку подниматься стал, и вдруг откуда-то сверху ка-ак шандарахнет: ба-ам, ууу-сииннь. И загудело, забурлило по лесу.. Не успел Колька оглянуться и сообразить, как повторилось еще и еще. Не помнит он, как с бугра вниз скатился, мельком заметил бежавших куда-то рабочих и красноармейцев.

Одни бежали к путям, другие навстречу Кольке в гору. Где-то, совсем близко, очень звонко и резко затрещало: три-и-и-ти-ти-ти-и. Врезаясь в этот треск и гул, рывкнул паровоз: гуа, гуа, гу-у-у.

„Отец это, отец“, — мелькнуло в Колькиной голове. „Что же это такое?“ А бежавшие рядом кричали:

- Чехи, чехи.
- Стой, свои.
- Скорей к эшелону.
- Товарищи, обходят, обходят.
- Казаки, казаки.

Горит у Кольки внутри. Скорей, скорей—и припустился что есть силы к паровозу, а позади станции по платформе бежали чешские солдаты, приближаясь к поезду.

По-кошачьи, с налету вскочил Колька по ступенькам паровоза и, споткнувшись, упал, ударившись боком о колени отца; падая, слышал, как часто застрекотали выстрелы, зазвенело железо от ударов пулеметных пуль, и, ругаясь, неожиданно опустился на колени отец.

— Колька, скорей, регулятор, краны...

Перескочив через отца, Колька рванул вентиль, открыл продувательные краны и, подскочив, схватился за регулятор, тяжестью тела потянул к себе. Паровоз запарил и, как будто подпрыгнув на месте, рванул вперед, лягнули фаркопные цепи, заговорили по стрелкам бандажи, побежали куда-то стоявшие по бокам товарные вагоны, дома, деревья.

Слышались чьи-то крики:

— Сволячь, стой, стой!

А Колька толкал и толкал регулятор по команде сидевшего в углу отца. Позади грохотали вагоны, с насыпи вихрем поднимались песок, мелкая галька и посвистывал навстречу ветер.

Проскочили переездную будку, потом какой-то раз'езд.

Отец, удерживая стон, скомандовал убавить ход.

— Тише, Коля, станция скоро, назад регулятор, назад.

Оглянулся Колька и увидел: совсем отец на бок повалился, а из обеих ног через голенищи сапог густо кровь запекалась.

Лукича не было, только сейчас и заметил.

— Папка, что у тебя кровь-то? А Лукич где? Убили?

— Не знаю, сынка, может, и убили Лукича, а вот мне так здорово досталось: обе ноги перешибло пулями, разуться бы надо, да не могу.

Колька кинулся было помочь, отец остановил.

— Смотри уж, ладно, дай свисток.

— Не достану.

— Проволокой зацепи. Ох, боль-то какая.

Подходили к станции. Кое-как дотянувшись, Колька дал продолжительный свисток и стал тормозить, а отец кричал:

— Медленно, медленно, не рви.

К остановившемуся паровозу набежали красноармейцы и комендант поезда.

— Ну, как, благополучно ли? Спасибо вам, выручили. Кто, товарищи, вел поезд?

Колька соскочил на песок, бледный, перепачканный, босиком.

— Я, товарищи, работал, а папка там лежит, простреленный.

— Так это ты нас вывез?—засмеялся комендант.— Ай да машинист. Орден Красного Знамени за это. А ну-ка я тебя начальнику штаба покажу. Сгреб комендант Кольку в охапку и на руках понес в вагон.

И. СОВИН

ВОЛЧОНОК

Сентябрь насвистывал свою последнюю песенку. Вот-вот подопрет его Октябрь. Щелкнет первым заморозком— и ну копать то, что не по силам Сентябрь-Листопаду, и хватать перворожденным холодком отвыкшего неугоди-человека за нос.

Тимошка вяло переходил с улицы на улицу и вяло тискал большими сапогами по жиже. Густо падавшая слякоть на его не то сонном, не то усталом лице из прижитого им в кузнице толстого слоя угольного налета разводила черную краску.

Кто-то хихикнул, блеснув золотым зубом.

— Чертенок...

Тимошка не слышал и не видел. Давя сапогами из-под ног брызги слякоти, шел туда, куда закидывались задравшиеся кверху носки сапог.

— Куда? Не видишь... уснул.—Скользнув осторожно по плечу Тимошки, мелькнула перчатка.

Откуда—Тимошка знал, а куда—нет.

Позади остался дом, отец и кузнец Викул.

Тимошка, когда ему кузнец на пробу велел сделать подкову, призывал на помощь всю „образованность“, полученную им в кузнечной учебной мастерской захудалого уездного земства. Подкова не удалась. Вышла, как сковорода с концовками, и не с шилом, а с клыком.

Учился второй месяц.

Не понравилось отцу и взял Тимошку „домой“ обратно.

— Братенник Викул обучит...

Тимошке и не хотелось расставаться с ребятами,—ничего не поделаешь: отец.

Там в земской мастерской вольготно было, а кузнец Викул „взял в работу“. С первых же дней ему подкову, тогда как Тимошка только мельком от мастера слышал, как „сготовить“ ее, да видел, как дубасил красное тело железа кузнец Викул.

Отец, сдавая сына братеннику Викулу, наказывал не потачить Тимошку, чуть чего—„блямбу“. Кузнец так и делал. Порой на него находил спокойный стих, тогда он рассказывал Тимошке, как добывают железо и кто его добывает.

„Пу-уф-фу, пу-уф-шши, шшш...“

Вздыхали меха, разбрасывая из горна веер из красных брызг.

Пыхтел и кузнец.

— Во, как достанется. Не велико дело мы с тобой. Достается по всякому...

„Пу-уфшш...“

— В земле водится железо-то. Люди, наш брат, будто кроты роются. Шахты, рудники устроены в земле. Про ад говорят,—вот он ад-то... То же домна, печь это,

где, будто масло, топят железо. Во жара! Твой нос туда—зараз обсох бы...

„Пу-уф-ш..“

— То ж завод. Точат, шлифуют, железную пыль глотают. Сколь чахнет, умирает. Там умирают...

Кузнец осматривался кругом и шопотом продолжал.

— А на забастовках... ложится голов... Революции не знаешь—сопляк. Была она и еще будет... Уфф! Потно. Да.. Встанут вот так, как есть чумазые, грязные, да как.. о-го-го-го... Со всего света...

Тимошка глаза тарашил.

— Ты чего... невдомек! Поймешь, будет время.

Носки больших сапог вскидывались то вправо, то влево. Тимошка повиновался.

В нос ударило жареной колбасой. Челюсти Тимошки просили работы, желудок жадно мял в изобилии спускающуюся в него слюну.

Рынок...

Торговка, разбухнув, как почка, сидела, вывернув из-под себя, словно лепестки, ноги, перед миской с пельменями. Тимошка жадно пронизал до дна всю миску, остановившись на жирном вздутом пельмене.

— Э, паренек, какой у тебя глаз-то острый, то и гляди...

— Христа-а ра-а-ди...—тянула босая девчонка.

На столике разрезанный свежее-печеный хлеб дымился.

Желудок жадно набрасывался на слюну.

— Востер бобер, то и гляди...

Пельменщица проводила Тимошку глазами до угла рынка.

„Юнкари!“

По асфальту, в казенной форме, казенным шагом, штамповал взвод казенных людей.

Тимошка долго примерялся итти с ними в ногу, пытался размерным шагом переставлять ноги: вышел на панель.

— Раз-два, ррраз...

Носки больших сапог забирали то вправо, то влево. Тимошка путался.

„Торопятся!“

Последний штык, обогнув дугу, скрылся за угловым домом.

Колючий ветер винтом вихрил под мышками Тимошки и в прореху забирался к „гусиной“ коже.

Вспоминались кузница и хмурый, но добрый кузнец Викул.

„Там тепло. Викул молотом „охлаживает“ по наковальне...“

Зеркальное стекло магазина родило двойника Тимошки. Во весь рост, и задравшиеся кверху носки сапог, и вихор торчмя торчит из-под прожженного картуза. Ослабился, никогда он не видел себя с ног до головы. В осколок зеркала, если приходилось, он видел в отдельности то нос, то глаза, большие, большие, несуразные, как бычачьи, а тут все сразу и на своем месте.

„Раз-два, раз-два... Мне бы.. Чистенькие...“

— Посторонись! Тоже...

Кто-то сильно толкнул. Казенная форма исчезла, он стоял перед двойником: один борт паневы лохмотился о вздернутый носок сапога, а второй полуприкрывал разорванные на колене штаны. На фоне сажи и угля искрились кошачьи глаза.

Ветер со свистом лепил слякоть и в спину Тимошки, и в вывеску, уродуя смысл написанного.

— Бу-лоч-на-я,—ослабился и смахнул липким языком сажу с верхней губы.

За стеклом рыжела пухлая булка.

— Ага! Булочная.

„По-опрро-оси“—жамкнул желудок последнюю порцию слюны.

Рука, взявшись за скобу двери, вздрогнула, холодная дрожь пробежала. Бррр... Скользкое, холодное, отполированное, круглое, как тело змеи...

„Точат, шлифуют... железную пыль глотают... чахнут...“

„Попро-о-о-о...“—бессильно жамкнул желудок.

„Христа-а ра-а-а...“—вспомнилась девчонка на рынке.

Ноздри раздулись; пряным дохнуло.

— Не, шалишь... Нна-ка выкуси...

Пустился бежать.

Низко плыли тучи. Бежит он, а навстречу низко-низко плывет большая-большая, темная туча—и как будто норовит в рот. Целыми тучами глотает, слякотью запивает.

„Урр, урр, бррлю“,—раскатывалось в брюхе.

— Не... шалишь, Христа-ради... Не, от Викула ушел, домой не пошел. Теперь... кланяться... Не-е...

Большая, темная, как испорченная печень, туча напоролась на крестообразный кусок железа колокольни.

Над землей хмурилось, хмурилось и на земле.

Перед железными воротами большого дома что-то кричал и махал руками человек в сером. Две-три фуражки взлетели вверх.

— А-а!.. Зачем? Мы што?! Доверие... Покажем!
Охранники!.. У-у-уу!..

Росло... Голосело... Шинели... Блузы засаленные...
Гудело, у-у-уу!..

Крестообразный кусок железа на колокольне, распоров печень-тучу, скрылся в ней, блеснув желтизной.

— Ка-зенный вин-ный с-к-лад,—осилил Тимошка грамоту большой красной доски на воротах.

Сквозь решетку ворот видны „чистенькие“, за которыми он пытался шагать в ногу. Щелкая затворами, они перебегали трусливо по двору, укрываясь за ящики и бочки.

„Торопились... во куда!“

Тах!

„Фи-ю“... над ухом Тимошки прококетничала невидимка.

— Та-ак!

Вздохнула калитка, в нее, как в прорванный лист бумаги кулак, ввалились шинели, засаленные блузы, кацавейки...

— О-о-ох... Мы... Тах, так...

Тимошка бежал меж бочками и ящиками.

Щелкая затвором, впереди его метнулась за бочку невзрачная „чистенькая“ фигурка. Пугливо и удивленно косилась пара как будто старознакомых глаз.

— Тра-та-та-та.

— Тах.

— Ух-ты... а стеррр, ууууу-уу-у-у-о-о-о!

Гудело во дворе и на улице.

Жгучее скользнуло по самой макушке...

Тимошка как бы нехотя остановился, ноги дрыгнули из-под себя в стороны. Медленно опустился он рядом

с бочкой. Из-за бочки пара расширенных от страха глаз впились в Тимошку.

Как след от красной кисточки, тянулась полоса о макушки к затылку, где вихрастые волосы скатились в липкий комок.

Шмелем прожужжала над ухом невидимка и впилась в дубовую доску бочки.

Крепко-пахучее лилось и застаивалось на упитанной влагой почве.

— Испить бы...

Лужа около бочки разливалась, светлое крепко-пахучее бурело.

— От Викула... ушел, к отцу не... Кланяться не... нна-ка выыы...

Кто-то пригоршнями перекачивал побуревшую крепко-пахучую лужу в ведро.

— Видать, малый упился...

Тимошка стонал.

— И-и-испи-ить бы...

Когда Тимошка лежал в госпитале, первые дни он был без памяти, бредил.

„От Викула ушел... Теперь. Нна-ка вы-ы-ы... Ре-волюция...

Навещали его два солдата, те самые, которые подобрали его раненым и доставили его в лазарет.

Пришел он в сознание—не мог припомнить всего, что с ним случилось, а когда нащупал на голове повязку, ухмыльнулся как бы про себя.

Двух солдат, что доставили его в лазарет, тоже не помнил. Они заходили часто. Долго беседовали. Рассказывали о происшедшем, а однажды обмолвились и о том, что будто на-днях должно что-то опять случиться. Гово-

рили неясно, намеками, но Тимошка угадывал, жадными глазами впивался в рассказчиков и сетовал на свою слабость.

Однажды солдаты не пришли навестить его. Тимошка притих. Он втягивался под колючее одеяло с головой и думал, думал много. Вигула вспоминал. „Революции не знаешь, сопляк“... Пытался встать—слабость разводила ноги в стороны, и сиделка строго-на-строго приказывала лежать спокойно.

Все-таки не вытерпел.

Окна лазарета выходили на площадь.

Подошел к окну. То, что он увидел на площади, сначала не разобрал.

Ряды за рядами спешили серые шинели с ершистыми винтовками; перебегали и одиночки вооруженные, и военные, и невоенные—по костюму видно. Около будки устанавливалась пушка.

Вдруг, как будто над ухом Тимошки, лопнул большой бычачий пузырь, а за ним второй. Где-то охнула пушка. За ней стрекнул пулемет.

Тимошка прильнул к стеклу.

Кто-то из больных крепко ругнулся, а второй добавил:

— Постреляют нас здесь... Чего доброго...

Тимошка недоумевающе оглянулся—и опять к окну.

На площади засуетились, особенно у пушки.

Что-то знакомое показалось Тимошке в одной из шинелей. Вплотную прилип он к стеклу и отскочил, крикнув с задором:

— Да это Николай! Ишь ты...

Тимошка не ошибся.

У пушки возился Николай—один из посещавших его солдат.

— А ну-ка... Та-ак...

Тимошка то прилипал к стеклу, то отскакивал от окна.

Больные тревожно забегали по лазарету. Тяжело больные лежали, довольствуясь передачей сведений.

— Малый! Што там?..—спрашивали они Тимошку.

— Николай... там...

— Какой?

— Что...

— У пушки... говорю...

А когда пушка на площади с грохотом охнула, так что стекла зазвенели, Тимошка отбежал в сторону, к тяжело больным, и увесисто сообщил:

— Это Николай... Солдат бывал у меня... Здорово он...

На улице затарахтели ружейные выстрелы. Там столкнулись две силы—буржуазная и пролетарская.

— Куда ты?—набросились больные на Тимошку.

Он второпях накинул халат и пустился бежать меж коек к выходу.

— Волчонок!

— Характерный!—ворчали они вслед.

Пушка-буржуйка опять стала угощать отрывкой. На площади суетились.

Тимошка подбегал к тому месту, где около пушки кружились заботливо хмурые солдаты.

Снарядом снесло у будки угол карниза. В стороны полетели камни, обломки.

Подбегая, Тимошка видел только, как Николай взмахнул руками, опустился неловко на колени и свалился

около самой пушки, не успев ответить. Повалились и другие.

Лазаретные окна били дрожь. Больные, прильнув к стеклам, видели, как небольшая фигура в лазаретном халате, с повязкой на голове, таскала блестящие, шлифованные цилиндрические тела и совала в пасть пушки.

— Вот... Залягай его лягушки!

— Смотри! Ай-я-яй!

Окна лазарета звенели.

Уж повязки на голове Тимошки не было видно, только халат мелькал и на ветру раздувался, а пушка-пролетарка посылала отрывки в сторону „чистеньких“.

Лазаретные стекла дзинькали...

МИКОЛА ХВИЛЕВЫЙ

„КОТ В САПОГАХ“

Глава I

Гапка—это глухо. Мы ее—товарищ Жучок.

И идет.

Знаете картинки в детстве: „Кот в сапогах“.

(Он очень комичный. Но он теплый и близкий, как рука матери.

Кот в сапогах—это товарищ Жучок.

Откуда они пришли, товарищи Жучки? Сколько их пришло?

А прошли они из конца в конец нашу революцию. Прошли Жучки: „Коты в сапогах“.

...Ах, я знаю: это тайна Октября. Откуда они пришли—это тайна Октября.

...Сегодня в степи конницы не слышно, не вижу и „Кота в сапогах“.

Откуда пришел, туда и скрылся.

...Скрылись, разбрелись по трактам, по кварталам, по глухим дорогам Республики.

„Кот в сапогах“, это—муравей революции.

И сегодня, когда голубое небо, когда ветер тихонько лоскочет мой висок,—и в душе моей сегодня васильковая грусть.

Да. Я хочу спеть степную, бурьяную песню этим сереньким муравьям.

Я очень хочу...

Но...

Я... не могу: надо, чтобы была песнь песней, надо, чтобы был гимн.

Потому и васильковая грусть: разве я создам гимн „Коту в сапогах“, чтобы понести этот гимн в глухие дебри Республики?

Разве я создам гимн!

.....

Вот ее одежда:

— Блуза, юбка (зимой старая шинель), капелюшек, сапоги.

Блуза—цвет „хаки“, без пуговиц; цвет „хаки“—это же зеленый, а революция стучит, звенит, плужит, утрамбовывает в оврагах, в бурьянах, возле кузницы, возле шахты, где цвет „хаки“.

Вся революция без пуговиц, чтобы было просторно, чтобы можно было расправиться, вздохнуть свободно во все легкия, на всю степь, на все села, поселки...

— На весь мир.

Юбка тоже цвета „хаки“, а если и не так, то все равно так, потому что цвет бурьянов давно уж отпечатался в ней. Да, и юбка тоже „хаки“. Она немножко оборвана спереди, немножко сзади, немножко по бокам.

Но сорочки не видно, потому что революция знает одну гармонию красок: червонную с цветом „хаки“,

потому и сорочка была зеленой—тени бурьянов упали на сорочку. Вот.

Капелюшек... а на нем пятигранная звезда.

Этого достаточно. А то еще: под капелюшком бритая голова—не для моды, а для похода, для простора.

И наконец—

— сапоги.

Ну, тут ясно: „Кот в сапогах“. Чего больше—посмотрите на картинку, ту, которая в детстве.

Достаточно.

А теперь о ее внешности, а потом—

— о ней...

...Внешность.

Белокурая, чернявая.

Ясно—Жучок.

А впрочем, это не важно...

Глаза... Ах, эти глаза: я совсем не роман пишу, а только маленькую песню.

Но нужно и о глазах.

Глаза—

— тоже Жучок.

Еще смотрите на ее глаза: когда на бузину упадет августовский луч, то тоже ее глаза.

А вот нос (для барышен—скандал) нос-пуговка, кирпатенький (кирпик, — говорили и так, но не в глаза только).

Ну, еще рост.

Ясно—„Кот в сапогах“.

А впрочем, я совсем не хочу идеализировать товарища Жучка, я хочу написать правду о ней, отрывок правды, потому что вся правда—это революция.

Теперь мой читатель ждет от меня, наверное, интересной завязки, интересной развязки, а от „Кота в сапогах“ — общепризнанных подвигов, красивых движений и еще много чего.

Это напрасно.

Мы с товарищем Жучком не мещане,—красивых движений у нас не будет: у товарища Жучка не будет. За этим обращайтесь к гитарным героям гитарных поэм.

Товарищ Жучок это — только „Кот в сапогах“, с живыми движениями, с бузинным взглядом, который ходит по бурьянам революции и, как муравей, тянет солнечную мощь, чтобы осушить болото, а какое — вы знаете. И только...

А завязки-развязки так от меня и не дождетесь.

Потому что завязка — Октябрь, развязка — солнечный век, и к нему идем.

Мы с товарищем Жучком этого не знаем. Правда, подвиги есть, но они не наши.

— А чьи?

— Вы подумайте.

Так вот, это не роман, это только маленькая песня, и я ее скоро окончу.

Глава II

В этой главе я рассказываю о маленьком подвиге... А о чем? — Вы подумайте...

...Зима, вьюга, сугробы и еще сугробы... Поезд, железная дорога и рельсы — рельсы в степь.

На Кубань. На Кубань. На Кубань.

...Долго паровоз возится в депо; и тут в депо, и там в депо...

И тихо в молчании стоят снежные станции: может быть, снова мы будем бежать сюда — растерянные, с воспаленными глазами, а за холодными станционными зданиями завоюют волки на тоскливый холодный семафор.

Но сегодня мы едем на Кубань, потому что верим в свои воспаленные глаза.

— Товарищ Жучок?

— Да, и товарищ Жучок.

... А почему она в этом полку, вы, конечно, не знаете и никогда не узнаете, так как и я не знаю, а врать не хочу, — это отрывок правды, а вся правда — это революция.

... На каждой станции только и слышно:

— Казаки. Казаки.

Везде казаки, везде бандиты.

Тянется поезд, как ленивые волы в поле, как ленивые волы с поля.

Степь. Вдруг...

Стоп.

— Что такое?

— Нет топлива.

.....
— Товарищи. Всероссийская кочегарка в опасности.

— ... Д'эх, яблочко, куда котишься, попадешь до Краснова — не воротись.

— И вдруг:

„Ой на горі та женці жнуть“.

— ... Эй, вы, хохлы. Чего завыли. Будет заупокойной — и так грустно.

... Степь. Выюга. Сугробы и еще сугробы.

— ... Ефто пятой вагон — антинациональный. И скажу я тебе, братец, про народы. Лотиш — ефто тебе тишь,

смирнай народ, мудрай; еврей—тож ничаво. Ходя-китаец,
аль тутарин—суровай и верная народ... А вот ефат



Козлов.

Комсомолка.

сахол — паныхида: как завоя про поля, аль поо дев-
ину—тякай.

... Степь. Вьюга. И рельсы — рельсы.

— Казаки. Казаки.

— Де? Что? Как?

— Кто панику делает? Сволочи!

Выскакивают сотни „наганов“, „браунингов“, винтовок.

Кое-кто смотрит с тоской, кое-кто готовит винтовку, патроны, кое-кто сел на тендер и полетел: паровоз отделился и летит за топливом.

— Товарищ Жучок, вам не страшно? Казаки.

Улыбается: в их поселке были казаки.

О, она хорошо знает, кто такие казаки. И почему-то замечталась, задумалась.

... Долго белые и широкие поля. Долго паровоз не приходит. Наконец пришел. Потом опять уходит в дикую и немую степь.

... От станции к станции, от холодной ночи к холодной ночи.

Топлива нет. Ночью трещат станционные заборы, и трещат и смотрят с тоской ободранные дырявые вагоны:

... Поезд генерала (имя рек).

... От дикой станции к холодной ночи, от дикой ночи к холодной станции.

Товарищ Жучок достала топлива. А достает так:

— Тетя, дайте эту палочку.

— Что?

— Дайте эту палочку.

— Бери.

Взяла.

— А может еще дадите?

Посмотрит „тетя“:

... Жучок. Кот в сапогах.

Еще дает.

... Товарищ Жучок хохочет:

— Ха-ха. Обманула тетю...

А она совсем не обманула, она просто—
Жучок.

... Ах, эти Жучки в сапогах, они абсолютно не дают мне покоя. Когда я буду известным писателем, тогда я напишу большую драматическую поэму: „Кот в сапогах“. А теперь я пишу маленькую драматическую песню, и она называется: „Жучок“. Когда выйдет из печати, прошу вас, прочитайте. Даю слово, интересно...

... Трещит чугу́нная печка,—топливо. За вагоном летит—метет дикая метель...

Едем на Кубань.

— ... Вот так... не так. (Это товарищ Жучок). Вот так... не так..

У печки единица вагона, может быть, я, может быть, кто иной, может, все мы.

Она учит, как починить прожженную шинель.

Но она говорит:

— Дурака нечего валять. Думаешь, когда возвратишься домой, так я с тобой буду, как и теперь, возиться. Дзуски! Как бы не так... На, шей.

Она нам обед варит, она наша кухарка — и только. Она беспартийная, но уже держит в сумке толстенную книжку:

„Что такое коммунизм“ (без автора), издание N-го боевого участка рабоче-крестьянской Красной армии.

Иногда мы ей говорим:

— Слушай, товарищ Жучок. Нельзя ли с тобой побаловать?

Тогда мы слышим:

— Дзуски!

Мы смеемся, так как знаем, что не всем „дзуски“ у нас есть молодой „паренек“ (так зовется, так зовем паренек). Он тоже кирпатенький, и мы уже видели, как он обнимал е, она молчала.

... Ну, то их дело.

... Но она решительно удивляла, она иногда употребляла такие слова, вела такие разговоры, что мы только рты раскрывали...

Безусловно, когда мы думали только про врага, она еще о чем-то думала.

— Не окончила ли ты гимназию? — смеялись некоторые.

Она комично всплескивала руками:

— Гимназию? Гимназия для панов... А для нас:

— Дзуски!

Тогда один неповоротливый хохол авторитетно заявил:

— Це паходной Ленин...

— Да, руки потрепаны.

... А за вагоном стояла тоска и свистала тоска с проволоки, которая шла, уходила за столбами, неизвестно куда.

... Вьюга, морозы, станции с занесенными снегом колоколами, изредка тоска на проволоку, а всегда—

— Д'эх революция—так революция!

А потом опять холодные вагоны, длинные поезда, поезда, как волю, и вдруг—

— Стоп!

— Что такое?

— Нет топлива.

Паровоз отцепляют, паровоз летит в темную, дикуую
вьюгу, в дикуую, темную степь...

.....

Только забыл я еще сказать: частенько, когда поезд
останавливался на станции на „неопределенное время“,
товарищ Жучок, управившись с походной кухней, выхо-
дила из вагона неизвестно куда, и долго ее не было.
Обратно она приходила всегда грустная.

— Почему грустная?

— Это видно будет дальше.

.....

Плакаты. Плакаты. Плакаты.

Гу-у. Гу-у.

Бах. Бах.

Плакаты. Плакаты. Плакаты. Восток. Запад. Север. Юг.
Россия. Украина. Сибирь. Польша.

Туркестан. Грузия. Белоруссия. Азербейджан. Крым.

Хива. Бухара.

Плакаты. Плакаты. Плакаты.

Немцы, поляки, петлюровцы—еще, еще, еще...

Колчак. Юденич. Деникин—еще, еще, еще...

Плакаты. Плакаты. Плакаты.

Месяц, два, три, шесть, двадцать—еще, еще, еще...

Гу-у. Гу-у.

Бах. Бах.

.....

Мчались месяцы.

Прошло... Я не знаю, сколько прошло: может быть,
это было вчера, может быть, позавчера, а, возможно,
прошло двести лет.

Когда это было? А может быть, это васильковый сон.
Не знаю.

И вот—лето, степное лето. Это степь возле Днепра, недалеко Днепр.

... Теперь ночи в летних степях. Это так прекрасно, так каламутно.

Знаете. Сидишь в степи и думаешь про ковыль-траву. Это так прекрасно: думать про ковыль-траву, когда она таинственно шуршит, когда шорох зайчиком: скок, скок.

Это так прекрасно.

Ах, какая жалость, что мои предшественники уже описали степь ночью. А то я ее так описал бы, ей-ей.

... Я приехал. На третий день получаю записку:

„Товарищ, вы, кажется, прибыли еще в пятницу. Предлагаю немедленно зарегистрироваться в ячейке“.

Говорю:

— Секретарь, вероятно, жох, из старых партийцев.

Товарищ улыбнулся:

— Тебя удивляет записка... Это чепуха. Вот ты еще понюхаешь дискуссию. В печенках сидит дискуссия.

Я заинтересовался.

— Какая дискуссия?

— Обожди, сам узнаешь.

И не сказал.

Я ушел.

— Где комната ком'ячейки?

— Вон там.

Вхожу. Смотрю: что-то знакомое. Думаю, припоминаю и вдруг вспомнил: да это же „Кот в сапогах“. Вот так история!

— Вы—секретарь ком'ячейки?

— Я.

— Вы, кажется, товарищ Жучок.

— Да.

— Ну, тогда мы с вами знакомы. Помните...

Она, конечно, все помнит, но сначала зарегистрировала мой партбилет, а потом уж говорила.

... Ясно: прошло столько времени. Товарищ Жучок дочитала, прочитала:

„Что такое коммунизм“ (без автора) издание N-го боевого участка рабоче-крестьянской Красной армии.

И только. А остальное так просто: ходит „Кот в сапогах“ по бурьянам революции и, может быть, и сама не знает, что она секретарь ком‘ячейки, а потом узнает и пишет:

„Предлагаю немедленно зарегистрироваться..“

Одним словом, я, вероятно, и не удивился, тем более, прошло так много времени, а „Кот в сапогах“ и тогда уже был:

„Паходной Ленин“.

И, нужно признаться, второе издание Ленина: „Паходной Ленин“—такое же иногда было суровое и грозное.

Вот картинка:

Я провинился.

Жучок—глаза драконом:

— Товарищ. И вам не стыдно!

— Позвольте... Ведь я же, ей-богу... я же...

Товарищ Жучок—глаза драконом.

— Ваш партбилет давайте.

Отдаю. Пишет:

„Товарищ такой-то в таком-то месяце пропустил столько-то собраний. Получил выговор от секретаря ком‘ячейки с предупреждением вынести его недисциплинированность на обсуждение общественного мнения партии, посредством партийного суда, на предмет перевод

в кандидаты или окончательного исключения из наших коммунистических рядов". Подпись.

Точка. Ясно. Кратко и—

— Немножко того, не по себе.

... Конечно, как и тогда (тогда—в дикой, немой степи) на ней цвет „хаки“, потому что революция знает одну гармонию красок: червонную с цветом „хаки“. Как и тогда огромные сапоги не по ноге. Как и тогда—

— Дзуски!

Как и тогда, бузинный взгляд, бузинный смех и носик-пуговка, кирпичный. Как и тогда, были ночи, но уже не походные, а теплые, задумчивые, — летние степные ночи.

Только теперь тревожили нас не казаки, а бандиты-лесовики тревожили наш тыл. А с юга наседали разъяренный, раненый (добивали) медведь с белого гнезда великой российской империи.

... А вот дискуссия (в печенках сидит). Есть ходячая фраза: нужно быть на чеку и не забывать че-ка.

Сделали перефразировку:

„Дискуссия — это быть на чеку, чтобы не попасть в секретарские че-ка“.

Товарищ Жучок говорит:

— Сегодня вечер дискуссии:

Мы:

— О-ох, в печенках она сидит (это, конечно, про себя).

— Товарищ, дайте мне „Азбуку коммунизма“.

— Ах, не мешайте, товарищ. Вот я и забыл: как это. Тьфу, чорт. Значит, капиталист имеет три признака: наемный труд... Наемный труд... Наемный труд...

Кто-то подсказывает:

— Монополизация средств производства и...

— И... идите вы к чорту, сам прекрасно знаю.

... А вот в другом конце:

— Комедия. Как все заволновались. Товарищ Лариков, неужели вы не волнуетесь?..

— Не верю. Не верю, чтобы вы все знали.

Это к одному из тех, которые все знают.

— Ну, вот, если вы все знаете, скажите, когда Тьер разбил великую французскую коммуну? В 71 или 48 году? А? Вот скажите!

— А вы, товарищ Молодчиков, не хитрите, не выныривайте, скажите просто, что вы не знаете, тогда я вам скажу.

Молодчиков краснеет, и я краснею, и много нас краснеет, потому что большинство из нас—это те, которые ничего не знают, но этого ни в каком случае не скажут.

— Это же глупости—эти дискуссии, как будто мы школьники.

— И правда. На кой чорт это? Это же буржуазный метод преподавания. Недостает еще экзаменов с инспектором.

И еще слышно:

— Да наконец дайте мне на минуту „Азбуку Коммунизма“.

— Фу, чорт, снова забыл. Капитализм имеет три признака: монополизация производства... Монополизация производства...

— Вот видите, все равно не знаете.

— Ах, оставьте меня, товарищ.

... Наконец и вечер.

... Так: за окном, как и в других моих рассказах (не всех), гром пушек, а где-то в травах, а потом на дороге—

кавалерия. Наша. Говорят, не наша. А чья? Не знаю. Может быть, вражья кавалерия, может быть, рейд.

И кто-то тихонько за травами:

— Возможно завтра, тут, где мы сидим, будут бумажки, тряпки и дух пустоты, дух бегства, запах крови.

Но это забывается

... Докладчик окончил.

Товарищ Жучок:

— Ну, товарищ Бойко, все-таки я ничего не поняла. При чем тут диалектика, если сказано — исторический материализм? Вы как думаете?

— Позвольте, товарищ председатель, я, собственно, слова не просил.

Товарищ Жучок—глаза драконом:

— Как председатель, ничего не позволю, а как товарищ, прошу вас сказать.

Мы говорили, мы путались (с нами иногда было даже дурно). А все это называлось—дискуссия.

Товарищ Жучок говорила:

— Дзуски! Не так. А ну, вы, товарищ Молодчиков.

Она решительно входила в роль педагога.

А мы бесились, потому что у нас было самолюбие.

Мы сердились на

нашу бывшую кухарку, на —

сегодняшнего секретаря ком'ячейки, на —

„Кота в сапогах“.

... Потом она бегала, суежилась, собирала женщин, организовывала женские собрания, где говорили:

про аборт, про любовь, про право кухарки (Ленин сказал).

Кричали:

— Долой семью. Да здравствует холостая женщина.

А для плодovитой женщины—кричали:

— Пусть будет интернат, пусть будут общественные прачечные и т. д., и т. д.

— ..Товарищ Жучок, можно двоих любить?

— Это зависит от того, как вы знаете исторический материализм. Я его плохо знаю, а потому воздерживаюсь.

.....
Так вот—много написал бы еще о товарище Жучке, и это занятие очень интересное. Да, видите, сейчас половина пятого, и мне нужно спешить на партийное собрание, потому что там

— Товарищ Жучок № 2, а это значит... Впрочем, если вы партийный, то вы сами знаете, что это значит.

.....
Она написала так:

— „Товарищ Микола (это мне: Микола Хвилевый). Вы, кажется, послезавтра уже будете в Таращанском полку, а я буду в резервной коннице. Там что-то махновщина, надо поагитировать. Может, никогда не встретимся, так я вас хочу попросить: не сердитесь на меня за дискуссию. Я знаю: у вас самолюбие, но у нас темнота. А поскольку диктатура наша... словом, вы меня понимаете: нам нужно за год-два-три вырасти не на вершок, а на всю сажень. С коммунистическим приветом. Жучок“.

...Но она сегодня не поехала, и мы еще встретились.

Встретились вот где. Представьте: пустая школа, политотдел. В углах, на столах лежат, спят. Это муравьи революции. Часть из них поедет в полки, подивы, часть будет тут, а потом также поедет—в полки, подивы. Это бурса революции...

...Было звездно, а потом стало темно, — прошли тучи...

...Мразило.

Мразило—мразило, и от чего-то было грустно тогда. Хотел скорее уснуть. Но в углу часто смыгали носом и не давали спать.

— Товарищ, не мешайте спать!

Молчание.

Мелкий дождь тихо, монотонно бил в окно. Хотелось, чтобы не было дождя и не тарахтали подводы. Напоминали тяжелую дорогу на Москву—уходить на Москву, на север, от вражеских рейдов.

— Товарищ, не мешайте спать!

Молчание.

... Вы уже, вероятно, знаете, что то была товарищ Жучок—шмыгала.

Она подошла ко мне:

— Пойдемте.

Я удивленно посмотрел на нее.

...Вышли на крыльцо.

Была одна серая дорога в ночную степь и была мразь.

— Вы плакали?

— Да. — И засмеялась. — Мне немножко стыдно... Знаете... бывает...

И рассказала.

Тогда я узнал, что товарищ Жучок, хотя и Жучок, и „Кот в сапогах“, но ей бывает грустно и бывает, не бывает:

— Дзуски!

Тогда мне курносый носик рассказал, что ей не девятнадцать, как мы думали, а целых 25, что у нее уже было бойстря, и этого маленького ребенка (бойстря)—

— повесил на фонаре один казак.

Это было на далеком востоке, но это и сейчас тяжело. Это было на далеком востоке, когда она шла по дороге за отрядом. А то была казачья месть.

...Я вспомнил снежную степь.

...Шел мелкий дождь.

Была одна серая дорога и темные силуэты построек.

А впрочем, это неудивительно, что ребенка на фонаре повесили: было еще и не такое. Я не собираюсь у вас вызывать слезу. А вот маленький подвиг—это безусловно. А чей, вы думаете?..

Товарищ Жучок № 2, № 3, № 4... (и не знаю, еще сколько) есть.

Товарищ Жучок № 1—нет.

Ушел „Кот в сапогах“ в глухие дебри Республики. Ушел товарищ Жучок.

...Ходит „Кот в сапогах“ по бурьянам революции, носит солнечную мощь, чтобы высушить болото, а какое—вы знаете.

Так: поп окрестил — Гапка (глухое слово, а гаптовать—вышивать золотом или серебром—это красочно).

Мы назвали—товарищ Жучок.

А история назовет—

„Кот в сапогах“.

„Кот в сапогах“—тип.

Точка. Кратко. Ясно.

Все.

Перевел с украинского

Мартын Аргат.

С М Е Н А

I

В те годы — восемнадцатый, девятнадцатый, двадцатый—граждане в России рождались десятками и сотнями тысяч. Они рождались в мастерских, на фабриках, заводах, в городе за прилавком, в поле за сохой, жили иногда недолго, но и тогда совершали подвиги и умирали от тифа, голода, на красных фронтах, так что никто их не регистрировал и над их могилами речей не проносил.

Василий Иванович Шутеев, бывший до своего рождения стрелочником, оставшийся им до самой своей смерти, родился 16-го июля 1919 г. Накануне этого дня над Кочетовкой всю ночь маялась июльская гроза с сухими молниями, тяжелыми громами и под конец с теплым, удушливым ливнем. Утро же и день свежи, пшеничные поля стояли крепко, в межах же к вечеру поднялась буйная зелень и цветы.

В этот же день вечером, отлучившись с поста на станцию, проходя мимо чумазого депо, был окликнут Шутеев дорожным мастером. Дорожный мастер, человек

огромного роста, всегда аккуратно запечатанный в кожаную тужурку, такие же брюки и сапоги, подождал, пока Шутеев подошел к нему, пожал его руку своею огромной, волосатой до самих щиколоток, сказал:

— Идешь ты, Шутеев, мимо и не заходишь, хотя, промежду прочим, у самого тебя четверо и жена больная.

Был Шутеев человек осторожный, от людей сторонился, по поводу же всяких собраний, резолюций и заседаний имел обыкновение, втянув голову в плечи, говорить:

— Я человек семейный. Жена, дети, сам—шост. Мое дело—сторона в таком разе.

Дорожный мастер не дал ему с'ежиться, положил распластанную ладонь свою на его плечо:

— А собрание у нас касательно устройства яслей для детей железнодорожников. Тебе ближе этого дела нет. Пойдем.

— Дитюти мне, действительно, крест на шее.

— Ну, и пойдем.

В чумазом депо, на тендере только что охлажденного паровоза, стоял высокий худенький человек и докладывал:

— Что касается до питания, то в случае недостатка мамок можно добавить две-три коровы, конкретно говоря, питать детей искусственным молоком...

За плотными спинами стоял Шутеев, слушал, вникал, и то, что говорилось, нравилось. На тендер взобрался другой человек, стал говорить тихо, внушительно и обстоятельно:

— Места должны проявить инициативу, потому как советская власть ликвидирует фронты, а наше дело о цветах жизни—детях наших—проявить заботу и учредить ясли—детский дом имени пролетарского вождя

товарища Ленина, исходя из положения — в единении сила и все за одного, и один за всех. Кто не согласен — пусть отойдет в сторону.

Никто в сторону не отходил. Шутеев же с сожалением сказал дорожному мастеру, поднявшись к его уху на дыпочках:

— Слов это у них много. Говорили бы попросту, а то слова все, да слова: ликвиндировать... Не поймешь.

— А дело-то в чем, понял?

— Делу этому я всей душой.

— Стало быть, голосуй за резолюцию.

Шутеев голосовал за резолюцию и даже выставлен кандидатом в комиссию по организации. Перед избранием попросили его, как других, взобраться на тендер, чтобы видели товарищи, кого уполномачивают. На тендер Шутеева посадил огромной рукою дорожный мастер, иначе бы ему не взобраться. Взобравшись же и все еще чувствуя под собою подпирающую крепкую руку, сказать Шутеев ничего не мог и улыбался. Товарищам же слов, видно, не нужно было — достаточно было одной улыбки сияющих от слез Шутеевских испуганных глаз — голосовали все за него дружно

Сам же он глянул в розовое море лиц, улыбок, высматривающих его глаз, утонул в нем, захлебнулся сначала, потом всплыл на самый верх и сошел с тендера твердо, солидно и ловко — опирался на высокоподнятые, голосовавшие за него, товарищеские руки.

Так родился в Кочетовском депо гражданин Шутеев — член комиссии по организации приюта-яслей детей железнодорожников имени Ленина.

Черная, как стены депо, знойная июльская ночь куражилась над пшеничными полями. На сжатых ржаных полосках свирестели стрекозы, дневной зной веял в лицо, в постовой будке хныкала Зинка. Шутеев стоял у стрелки и тихонечко говорил в раскрытую пасть будки:

— Не хнычь. Скоро я тебя ликвидирую.

Привыкал к словам в комиссии Шутеев, сам стал для шутки ими забавляться. Шесть прошло заседаний, и были уже готовы планы, сметы и помещения—Шутеев запрягся в дело, как в свое, и все выходило, как нельзя лучше.

Ждал Шутеев пассажирского № 4 и удивлялся, что без причины опаздывает. Стыли к утру поля, в стрелочном фонарике догорала лампочка. Из сточных канав под насыпью стлался по горячему песку влажный ветерок, и зеленый запах росы убаюкивал в будке Зинку. Вместо пассажирского № 4 к утру от станции выплыла к стрелке дрезина дорожного мастера с ним самим и людьми с винтовками и у стрелки задержалась.

— Что же это такое, Иван Парфенович?

Первый раз Шутеев увидел дорожного мастера, из кожаной куртки распечатанного—был тот поднят с постели—запечататься не успел.

— Шутеев, что ль? Белые, брат, в городе—вот охрану подаем на Березкин мост. К утру, пожалуй, тут будут—прорыв фронта. У них одна конница.

— Как же так, Иван Парфенович?

— Так, как есть, станция вооружается. Всех под ружье ставим: видишь—свои.

Были в дрезине свои: двое из мастерских, один с телеграфа, два из конторы, один из багажного—все с винтовками.

— Я не о том, я о другом. Я о том, как же наши ясли-то?

— Да уж коли белые тут будут—прощайся с твоими яслями. Ну, пошли, товарищи.

Громыхнула на стрелке дрезина, споткнулась на стыках, взвизгнула, ушла.

— Четвертого не будет, не жди.

Черным ежиком вползла по под'ему, блеснула в расчетном сумраке колючими штыками и опустилась по уклону. На ржаных полях затихали стрекозы, с канав поднялся сизый туман, стал таять. Зинка захныкала.

Шутеев взял Зинку на руки, скатился с нею под откос и побежал в поселок напрямик, минуя станцию. Поселок гремел калиточными щеколдами, светился в щели ставен неурочными огнями, кашлял собачьим лаем, поднимался на ноги.

Шутеев сунул жене в постель Зинку, натянул сапоги вместо опорок, крикнул ребятишкам:

— Не хныкать без меня—не пропадут наши ясельки. Придет время—я вас ликвиндирую.

Поцеловал жену, нахлобучил картуз. Жена открыла глаза, спросила с упреком:

— Куда же ты, Василий?

— Такое дело, Глаша.

— Какое?

— Насчет ясельков беспокоюсь—надо их защищать от ворогов лютых.

Она поднялась, вонзила, как угли, горящие глаза прямо в сердце, сказала горько:

— Чужие крыши все кроешь, а своя пустая.

В предрассветных сумраках выл отчаянно гудок, жег и давил. Мимо окон по кочкастым улочкам спотыкались, бежали рабочие. Лиц, как тогда на собрании в депо, разных лиц у них не было. Было у всех одно лицо — хмурое, с губами сжатыми, глазами сверкающими, вытягивалось оно от поселка до станции, до депо и мастерских и было пронизано гневом и яростью. Шутеева в комнате не было, Шутеева на улице не было — был в Кочетовке, был во всем мире воющий гудок и одна разгневанная душа человеческая.

Шутеев шел с комсомольцем Егоркой Замятниным, и Шутеев не знал, что он Шутеев, и Егорка не знал, что он Егорка, и кто из них Шутеев, кто Замятнин. Над черными крышами депо, над трубами сгрудившихся, как испуганное стадо, вокруг депо паровозов, над стрелками, семафорами вставало багровое солнце. Стальные рельсы сверкали в дымящемся поле, и над ржаными, пожатыми полосками южили черные дымовитые грачи.

III

Днем формировали дружины, разбирали винтовки, наганы, браунинги, наскоро разбившись на взводы, проходили строевую службу. Вечером на раскаленных путях, между пузатыми паровозами, цистернами и вагонами составляли охрану. Шутеев со своей дружиной стал на охрану телеграфа. В садике под окнами черная, как сажа, июльская ночь сияла мертвыми звездами. С ржаных полей неся, как ветер, яростный свист стрекоз. В садике на траве, цветах и клумбах дремала дружина. Шутеев лежал на спине, держа на себе винтовку, смотрел в черное небо, думал о чужих крышах.

Чужие крыши во все стороны расходились по поселку. Он осторожно тянул свою крышу к соседской—дотянул, обрадовался, кликнул соседа. На всех крышах появились люди. Они махали руками, приносили топоры, пилы, гвозди, сколачивали свои крыши с чужими, строили над всем поселком одну крышу. Шутеев спустился вниз, увидел, что чужих крыш больше не было, была одна у всех, под нею всем было тепло, светло, весело. Шутеев бежал домой—сказать жене о том, как все это вышло. Над головой стучали топоры, как выстрелы, и кто-то кричал, кто-то стонал от боли, и в самое ухо ему кто-то, как он жене, кричал:

— Вставай! Тревога. Тревога.

Возле поселка пылали пакгаузы, трещали, как щепки в печи, беспорядочные одинокие выстрелы, ревел гудок, заглушая захлебывающийся в поселке набатный колокол. Шутеева не было—были руки, винтовка, ноги, все это действовало само по себе: Шутеев встал с другими, сжимал винтовку, спешил, ждал самого главного, самого нужного.

На платформу станции сдвигались дружины; мимо Шутеева и сам он мимо других, как утром, под окнами метались знакомые лица—одно лицо, гневное, нахмуренное и спокойное. Шутеев не слышал ни слов, ни приказаний, но знал, что белые зажгли пакгаузы, надеясь заманить всех вооруженных людей, чтобы тем временем захватить станцию и телеграф. Может быть, были слова, разговоры и приказания, но никто не догадывался, что они были. Шутеев с другими шел занять правый переезд и вспоминал, как отодвигается затвор у винтовки, вкладываются патроны.

У переезда залегли под насыпью тихо, с готовыми винтовками в руках. Набат, гудок, выстрелы плыли где-то

поверх, и в ногах у Шутеева, слышию было, спокойно квакала лягушка.

Шутеев слушал ее долго, спустился ползком до канавы, где еще сочилась в пустой болотной траве вода, пошарил ногою, и лягушка на минуту замолкла. Яшка Замятнин, пряча огонь под рубахой, раскуривал папиросу, смеялся: — Что, она тебе помешала? Пусть орет.

Папироса, свернутая в темноте, сыпалась, не курилась. Он швырнул ее в канаву, привстал залезть в карман за кисетом и тут же шепнул:

— Они.

Конный отряд прятался в тени вагонов, но потом навскачь выбросился на освещенный заревом путь, вышел в поле, пошел к переезду. Целить было удобно. Шутеев выстрелил с другими, но угадать в скачущего всадника было невозможно. Выстрелы на минуту смутили отряд, но тут же взбудоражили коней, мчавшихся от огня и зарева в темном поле.

Шутеев увидел врага, вспомнил о яслях, не мог выдержать, с винтовкой пошел на перерез.

— Вот они. Вот они.

Яшка схватил его за полу, но не удержал. Отряд повернул к переезду. Блещущие шашки, крики, выстрелы, вздернутые морды коней ошеломили Шутеева. В одно мгновение он очутился в этом омуте, столкнулся лицом с горячими мокрыми губами вздыбившейся лошади и упал, как под обрушившейся громадой черной земли.

Она засыпала уши, глаза, придавила сердце; Зинка всхлипнула и протянула ручонки, но поймать их Шутеев не успел. Зинку на руки взял через месяц Яшка Замятнин—он заведывал приютом-яслями для детей железнодорожников имени товарища Шутеева.

Ф. КИСЕЛЕВ

ПРОРВА ОКАЯННАЯ

I

Николай Иванович, хозяин чайной и столовой „Приятный Отдых“, с подачей разных закусок, медленно, с аппетитом тянул за своим „хозяйским“ столиком „настоящий чай“.

Вдруг он поднял голову и заулыбался к двери. Но, узнав вошедшего посетителя, нахмурился.

— Но-о-о, опять идет, прорва окаянная!

А вошедшая фигура молодого парня, в потрепанном пальто, с измызганной папкой под мышкой, аккуратно появляющаяся здесь каждый вечер, прошла, как и всегда, на „Можайку“, заказала чаю и, достав из папки газету, уткнулась в нее.

Не любил Николай Иванович этого посетителя; не потому, что он мало денег проживал, а за то, что он приходил всегда вечером, когда посетителей меньше и мальчишки половые свободны.

„Прорва“ собирал их вокруг себя и о чем-то долго с ними говорил.

Даже извозчик, постоянный вечерний завсегдатай „Можайки“, и тот обращал на него внимание.

— Кто это такой будет-то? Все выпытывает, все выпытывает у твоих мальчишек...—спросил он однажды у Николая Ивановича.

— Из „товарищев“,—протянул тот.

— О! Ишь-ты! Так ты бы его, того, не пускал сюда,—посоветовал извозчик.

— Что ты? Что ты? Господь, с тобой,—замахал руками Николай Иванович. — Тогда гляди, еще греха наживешь,—долго ль до беды?.. Теперь ведь не старое времячко. Чорт с ним! С ними ухо держи востро. Живо...

— Это-то конечно, — согласился извозчик,—только вот мальчишек-то от дела отрывает.

А „Прорва“ сидел в это время, окруженный мальчишками, и записывал что-то в блокнот.

— Так, значит, хозяин у вас „чорт?“—спрашивал „Прорва“.

— Чорт, как есть, чорт,—шептал, наклонясь над столом, Гришка.—В чайной дежури́м до 12 часов, да после заставля́ет дрова колоть.

— А то на рынок с хозяйкой пошлет,—вставил Степка.—Она там накупит всякой всячины, а сама-то толстая, как бочка, нести-то не может, ну, ты и прешь, как лошадь...

— Так. И это запишем. А у вас инспекция труда была?

— Какая такая?—пожали плечами мальчишки.—Нет.

— Комиссия, которая следит за тем, чтобы подростки не работали более, чем им полагается.

— Уу! Эта-то была. Да только какая же это комиссия? — улыбнулся Гришка. — Какая-то девчонка, вот не плошь тебя, с папкой. Повертелась, повертелась да и ушла.

— Так. И это запишем.

— А что, нам за это ничего не будет? — спросил Гришка.

— За что?

— А вот, что мы тебе рассказываем-то?

— Нет. Не бойтесь, никто не узнает; а вот хозяину вашему попадет на орехи.

— Ну?.. А следует, ей богу! Вон Алей приехал из голодающих, а хозяин измывается над ним.

— Ну-да, — мотнул головой татарчонок Алей.

— Ну, все? — спросил „Прорва“.

— Нет, еще не все. А куда это? Зачем?

— А вот, ребятки.. И „Прорва“, наклонившись к ребятам, говорил: — Завтра, послезавтра вы возьмете газету и прочтаете, что там-то и там-то есть чайная „Приятный Отдых“, и хозяин там „чорт“. Ну, все, что вы мне рассказывали?

— Вот бы хорошо-то! Как наш хозяин разозлится тогда!

— Да вы сами-то пишите, — говорил им на прощанье „Прорва“.

— Ну, какие мы писаки? Уж лучше ты напиши!

— Да ведь письма в деревню пишете, — такое же письмо и в газету пошлите. Ведь не долго!

И, мотнув головой, „Прорва“ пошел к выходу.

— У-у-у-у. Прорва окаянная, — покосился на него опять Николай Иванович, чуя что-то недоброе.

II

Сегодня Николай Иванович „встал на левую ногу“, как говорили про него мальчики.

На все злился, на всех кричал... Не один стакан разбил. А получая деньги, он рвал их из рук покупателя, как будто бы хотел сказать этим: „Отдай, а то поте-ряешь“.

— Ишь как забрало, даже со злостью не справится!— говорили мальчики.

— Вот теперь попадет-то,—вздыхнул Гришка.

— Кому?—недоверчиво спросил Степка.

— Кому? Да всем. Вон Манька-судомойка запоздала, ну, ей и попадет.

— Пожалуй, еще и выгонит.

— Гришь, а Гришь,—зашептал Степка.

— Что?

— Знаешь, что? Давай сами опишем все в газету. Ведь мы не все еще рассказали-то.

— Ну-у, вот еще писака-лабазник!—покосился на него Гришка.—Писала бы у тебя вошь в голове... Писатель тоже нашелся!

— А что ж? Ведь он говорил, как письмо, так и это пишется. Давай напишем.]

— Тише... Вон Манька идет, давай послушаем, что ей хозяин будет говорить.

А Манька старалась проскользнуть так, чтобы ее не заметил „чорт“, и, быстро пошла на кухню.

Но Николай Иванович давно ждал случая сорвать свою злобу и, быстро выйдя из-за прилавка, остановил Маньку посреди чайной.

— Ты что же это, голубушка, на службу запазды-
ваешь?

— Николай Иванович. Простите, бога ради. Дома дела
были...

— Гм... дела. Какие же у тебя дела могут быть?

— Надо было кое-что выстирать... Я стирала...

— Что? Наволочки? Головой?... Знаем,—подмигнул
Николай Иванович.

— Записывай,—говорил Степка Гришке.

— „Наволочку головой“... писал Гришка, а сам горел,
руки дрожали, а в голове так и вертелась мысль: „Ладно.
Еще не так позлишься, когда прочитаешь про себя
в газете. Перестанешь измываться-то“.

А Николай Иванович стоял руки в боки перед оро-
бевшей судомойкой, распекая ее „художественными сло-
вечками“.

— Так, так, голубушка. А не хочешь ли, голубушка,
совсем ослобониться? Лучше будет:—„стирай“ да „сти-
рай“ себе на здоровье.

— Простите, Николай Иванович. Я отработаю,—уже
со слезами на глазах просила Манька.

— Гм... „отработаешь“. Не нуждаюсь...

— Пиши,—толкал Степка Гришку, заслонив его собой
от „чорга“.

Но писать мальчикам не пришлось; дверь с визгом
отворилась, и в чайную, навьюченный мешками и сверт-
ками, ввалился Алей...

Сгибаясь, он прошел на кухню, сложил с себя груз
и, подойдя к мальчикам, шепнул им:

— Пойдем.

— Что? Принес? Где?—набросились на него Гришка
со Степкой.

Алей мотнул головой.

Мальчики, бросив записывать, по одиночке побежали „на Можайку“.

Торопливо озираясь кругом, вытащил Алей из-за пазухи свеженькую газету и, показывая на заметку, сказал Гришке:

— Читай.

— „К ответу „чорта“,—прочел Гришка заглавие.

— Валяй дальше,—подталкивали его мальчики.

— „В чайной „Приятный Отдых“ производится бесчеловечная эксплуатация детского труда“...—начал Гришка.

— Дальше!—нетерпеливо ткнул его в бок Степка.

— „Хозяин жалования платит гроши, а заставляет работать по 12 часов в сутки. Кроме того заставляет колоть дрова, ходить на рынок и т. д. Надо подтянуть этого ретивого хозяйчика“—кончил читать Гришка.

— Еще раз прочти,—попросил Алей.

И мальчики так зачитались, что даже не слышали, как в „дворянском зале“ посетители чуть не расшибали крышки о чайники, нервно требуя кипятка.

— Ах, сволочи! Опять их нету. Погодите, сейчас узнаете у меня.

Рассвирепев, бросился на „Можайку“ Николай Иванович.

— „Платит гроши“, — опять перечитывал заметку Гришка.

— То... то... то...—остолбенев, затокал Николай Иванович. — Газеты?.. Газету читают!.. Сволочи!.. Сопляки!..

И, весь побагровев и потрясая кулаками, он кинулся на мальчиков.

— Вон сию же минуту, вон! Чтоб ноги вашей у меня не было. Читари какие, сволочи беспортошные! Вон!..

— Николай Иван...

— Вон... Дайте газету... Где газета? Подайте ее!..

„Дождись, огребай бабки, еще прогонишь“, — думал Гришка, бросая газету под плиту.

III

Чернее тучи стоит Николай Иванович за буфетом. Хочется ему сейчас схватить бы кого и рвать, рвать, как рвет дикий зверь.

Но кого?.. Мальчишек? Но он теперь боится их, как огня. „Схватишь, обожжешься“.

— У-у-у, — заскрипел Николай Иванович зубами на пробегающего Гришку. — Читарь. Погоди. Ты у меня до-читаешься!..

А Гришкины глаза, смотревшие насмешливо на хозяина, как будто хотели сказать: „Что, почтенный Николай Иванович, будешь измываться над нами?.. Смотри, а то живо — в газету еще“.

— Николай Иванович, — подбежала к нему Манька, — вам повестка.

„... в качестве обвиняемого по эксплуатации детского труда“, — прочел Николай Иванович. И заскрипел опять зубами: — У-у-у. Прорва окаянная.

Последние слова относились к корреспонденту газеты.

КОМСОМОЛЬСКАЯ ВЕСНА

I

И было это весной..

Вечерком, до 8 ч., в губкоммоле замешкались оба: секретарь Тимоша и заместитель Павлик.

А в окна топырился березняк, рябинник, черемушник в зеленых пахучих обновках, чивкало воробье, гаяло воронье и неподалечку журчал и булькал ручей, по полу расплывались лучи желтыми, маслянистыми пятнами.

И сгорбясь над столешницей, Тимоша пишет.

А Павлик беспокойно бродит по комнате.

— Нет,—говорит он,—четырёхлетний юбилей местной нашей организации на ять, с дребезгом, шиком! Знаешь, чтоб внешний эффект ошеломил и партийцев, и наших комсомольцев.

— Напротив,—говорит Тимоша,—меньше официальной казенщины, больше простоты, семейной интимности.

Пауза.

— Что ты строчишь?

— План проведения летней кампании.

Павлик подходит к окну.

О стекла трутся, шуршат ветви в пушистом оперении. Павлик отмыкает и до поясницы перевешивается через подоконник. Черпая голубым взглядом синие осколки неба с барашками облачков и черную отпотелую землю, Павлик кричит:

— Тимка, подь сюды!..

Тимоша подходит.

Отупелую голову будоражит, положет мягкий и влажный ветер. Сад кипит птицами, парнями и девушками. Плещется гомон и брызги смеха кропят тишину.

— Хорошо! — шепчет Павлик.

— Хорошо! — шепчет Тимоша.

И на миг молодым, девятнадцатилетним телом ощущает Тимоша весну, и сердце его взбудораженно екает, и комната с письменным столом — душная, тесная клетка.

Тимоша ловит черемушник и прижимает к жаркой щеке белые, душистые гроздья цветов.

— Что ты сказал? — спрашивает Павлик.

— Так, — отвечает Тимоша, и грудь его ноет, саднит так.

— Я говорю: весна не для нас. Вот комсомольцев рисуют в образе веселых разбитных хватов. Рядовые, может быть, и есть такие, а мы?

И Тимоша с горечью вспоминает пережитые голодовки, командировки зимой в ботинках, нетопленное жилье, опухшие от чтения циркуляров глаза, рану в плече на усмирении бандитов. А весна манит...

Но Тимоша быстро идет к столу. Садится и кашляет, уцепившись руками за грудь.

— Тимка, ты опять не был у доктора?

— Ерунда, — отвечает Тимоша и скользит пером по бумаге.

Павлик долго глядит за окно.

Потом отшатывается и, нерешительно посмотрев на Тимошу, садится: жаль оставить товарища одинокого в пустой и тихой комнате.

Его, верно, также манит весна.

Тимоша говорит:

— Иди... Что ж ты?

— А ты?

— Я, нет... Нужно спешить дать на места директивы...

Иначе пропадет летний период.

— Ну, и я не пойду...

Павлик потолкался по комнате.

Посвистел.

Повздыхал.

Попробовал посмотреть отчеты укомов. Перелистал один и понял, что в остальных притаилось то же: весенняя распушенность членов, пустые клубы, угроза развала „Срочно пришлите методы летних работ!“

А за окном синий, задумчивый ветер, сад и весна...

— Тимка, скверно, брат, мы живем! Правду пишет Бухарин о собачьей старости...

— Иди, кто ж тебя держит...

— Верно, я, пожалуй, пойду... в клуб... как там дела?

Павлик лениво уходит, сдерживая прыть шага.

За дверью смеется и проворно по винтовой лесенке скатывается в клуб.

А в клубе настезь окна и двери.

И эркаэсемцы на подоконнике жмурятся на закат. Иные вповалку, на полу, на коврах, на крышке рояли, а остальные буянят в саду..

Вплескивается ветерок, шурша шелком обоев, рубашками, юбками, волосами, платками.

Скрипят качели.

Босиком и без шапки мчится завклубом Борька.

— Борька! Лектор пришел... на политэкономиию...

— Граждане, спасайтесь, кто в бога не верит.

Эркаэсемцы шумно выламываются в сад.

Борька швыряет звонок, хлопает по ляжкам и волчком вертится по опустелым залам. Никого. Один Федька в читалке потеет над книгой.

Борька плюется и кажет в окно кулаки.

А оттуда сверкает хохот.

— Боря! Понюхай цветочки—ох, аромат, прелесть!

— Товарищи!..

— Да тяни лектора в сад...

Борька бежит в канцелярию клуба.

Лектор нетерпеливо крикает, барабани пальцами... Борька угощает его папиросой и осторожно повествует о прелестях весенней погоды и благотворном влиянии природы на душу человека..

— Собственно, в чем же дело?

— Иван Павлыч! Вы не можете сделать лекции в саду?

— Хм.. А комаров там нет?

— Что вы! Еще рано, холод, сырость...

— Ну вот видите, а у меня ревматизм...

— Это для комаров сыро, а для нас в самый раз.

Лектор пожимает плечами.

Берет книги, выписки, конспект и, поблескивая очками, осторожно выщупывая ногами путь, бредет в сад. Борька выводит его на полянку и ставит стол. А кругом деревья; из-под зеленых шуб стыдливо белеют березы и, точно запорошенная снегом, утопающая в цветущей черемухе. А кирпичная белая ограда, опоясывающая сад, чудится ледяной глыбой, и тянет оттуда холодком и сыростью.

Небо, словно спина, исполосовано кровавыми рубцами зари.

— Хорошо, — чмокает лектор, — пташки, деревья. Люблю. Кошечки мяукают.

— Что вы? Это наши ребята вместо кошек стараются.

— Да ну! Они где?

— А на деревьях.

Лектор испуганно таращится.

В потемках они кажутся большими, черными птицами. Робко прячется шопот и сдержанное хихиканье, пересыпанное хрустом и треском сучьев.

Лектор раскладывает книги, выписки и конспекты, выкладывает часы, кашляет, потирает руки. Потом поднимает голову, встряхивает волосы и — „Молодые товарищи, юные граждане, будущие строители, цветы земли, украшающие наш жизненный путь“...

И лектор очень обстоятельно поделился воспоминаниями о собственном — увы! — давно умчавшемся радостном детстве, пылко заявил о своей привязанности и любви к молодежи, в частности к Комсомолу, повздыхал о старости и позавидовал им, „юным птенцам революции“.

Лектор глядит на часы, испуганно прикладывает к уху и менее обстоятельно и подробно касается сущности доклада.

— Так, — говорит Борька, — Иван [Павлыч осветил нам фазы капиталистического развития... у кого вопросы?

— У меня...

Лектор ласково глядит на березу.

— Скажите, пожалуйста, треска так соленая и ловится?

II

Павлик пробрался в клуб. Пусто. В читальне, ероша волосы, распластался Федюха над непонятной книгой.

— Ты что не на лекции?

— Удрал. Больше из книги узнаю. Где Тимоша?

— Наверху. Тебе на что!

— Кой-что непонятно. Спросить.

Павлик через окошко прыгает в сад.

Ломится вглубь, на костер криков и гама.

Павлика щекочат заросли малинника, калинника, шиповника. Павлику весело.

Его откуда-то кличут. Он идет и напарывается на Борьку. Тот вспотел, залетелся, подолом рубашки мажет лицо.

— Как делишки, Боря?

— Плохо. Категорически слагаю обязанность заведующего.

— Да, опять, — и Борька плаксиво твердит про сломанные столы и табуретки, безденежье, буйство, недисциплинированность, малокультурность... — Ну, можно ли работать при таких условиях?

Павлик лукаво щурится.

— Ну, а как дела с летним театром?

— С театром? Павлуша, ну закинь слово в губкоммоле насчет тесу. Ведь кругом лесопилки... у нас ребята в столярных служат. Мы такой ли театр с гимнастическим городком срубим... Понимаешь, какие перспективы театральному, хоровому физкружку.

И захлестнутый перспективами Борька волокет Павлика облюбовать и вымерить место. Садится на землю и чер-

тит в блокноте планы, сроки, количество материала
Павлик треплет его по спине...

— Так, значит, слагаешь?..

— Ну, ну, уж и прицепился...

Павлик бредет по аллее. Но у развесистой черемухи
останавливается и глядит на окно, за которым томится
Тимоша.

— Эй, губкомец! Ты что снизу под подола смотришь?

Виски у Павлика бьются и уши пылают. Белкой пол-
зет на дерево, приснашивается рядышком. Сук качает их.

За оградой дзинькает трамвай, хрюкнул автомобиль.

— Какой ты рваный... Как увидишь в Комсомоле
оборванца, так и знай: активист... Как насчет ноты
Керзона...

— Да ничего нового...

— А вчера мы авансом постановили в случае войны
всем на фронт. Каково?

Павлик смеется.

А возле искрами из огнива:

— Мать твоего в господа Иисуса Христа...

— Ванька, пошто материшься?

— Дура, это—антирелигиозная пропаганда...

Сухую лучинкою вспыхнул голос: „Как ныне сби-
рается красный герой“...

Песня располыхалась грудой свежих, сочных голо-
сов. Песне откликнулись песни спереди, сзади, и весь
сад загорелся песнями. И в пламени песен метались сон-
ные гал.и.

Борька принес ракеты.

И желтые змеи с шипом поползли по темному бар-
хату ночи, заламывались вниз оранжевыми осьминогами
и, вытягивая щупальцы, таяли. А другие взлетали проб-

кой из горла бутылки, лопались золотыми мотыльками. Мотыльки перекидывались на улицу, садились на деревья. При ярких вспышках сад — пышный, сказочный терем. И все Павлику кажутся добрыми, родными и близкими.

Он снова смеется.

— Ты что?

— Так. Уезжаю в уезд. Мы на лето прикрываем губком и летим нажимать на места. Один Тимоша останется.

— А он все пишет? Киснете вы, активисты.

— Он хороший... Ему 19, но он прожил на 20 годов вперед.

— О!!!

— Да. Но мы, идущие на смену, нам нужно и личное счастье...

— О???

А в губкоме Тимоша с удивлением рассматривает толстую научную книгу. Федюшка, наморщив лоб, говорит о неясностях.

Тимоша раз'ясняет и, раз'ясняя, чувствует, что Федька знает не меньше его, и что самому ему вопросы также неясны.

И недавняя догадка, что опытные рядовики переце-голяли знаниями активистов, получила прочное основание.

„Ерунда, что ж, — думал Тимоша, — жить для себя — доля богатых. И для этого раньше я на фабрике работал, как вол, голодал, ничего не знал и также бы к этим годам успел заболеть чахоткой. Так уже лучше жить для своих ребят“.

За окнами взлетали ракеты.

И ракетами высоко и ярко взлетал молодецкий галдеж.

Песня тухла.

Эркаэсемцы хлынули по домам, на гулянку, в сквер
задирать нэпманов.

Утром появилась зорька. Медной полудой вылужены
крыши, окошки, река, храмы. И сквозь лебяжий пух обла-
ков солнце сочит лучи.

Солнышко, солнышко, не видало ты Павлика?

Вон бредет он домой. И в ушах плещется ее смех,
саднят на губах поцелуи.

„Надо одеться,—думает Павлик,—такая девка и вдруг
мархаль... Тьфу“.

Солнышко, солнышко, а не видало ты Тимоши?

А, вот он, спит в губкоммоле, придавив головою сто-
лешницу.

Стонет.

Скрипит зубами.

.

Это было весной.

МАРК КОЛОСОВ

ТРИНАДЦАТЬ

I

Ваньке тринадцать, и сказываются тринадцать во всем. Словно тринадцать крохотных бесов, прыгают они на Ванькиных радостях и тихо жмутся при его грусти. И сам Ванька маленький, щуплый, похожий на облезлого котенка, кажется жертвой своих тринадцати. Это не он радостно шмыгает по отделениям, визжит и пожимает руку каждому встречному, когда от их фабрики в московский Совет проходит коммунист, и не он в исступлении свистит и тоненьким голосом кричит „долой“, когда какой-нибудь меньшевик пытается „околпачить“ его товарищей.

Это—тринадцать.

Сам же Ванька тих и скромн, скромн и робок.

И когда случается—сгущается над фабрикой гроза закрытия, всем нутришком своим чувствует Ванька, как тревожатся его тринадцать, и от этого выступают серые ложбинки на покато́м детском лобике, и уже не звенят в коридорах бубенчики его гортани. Тихой тенью бродит синяя промасленная блуза и не знает, куда податься.

К директору трусит Ванька, хоть и знает, что директор—красный, свой директор—рабочий и коммунист.

Угнетает что-то обстановка в кабинете. Веет от нее великой строгостью и кажется, что вот-вот раздавят Ваньку, маленького, надвигающиеся стены, а на стенах: „говорите кратко“, „время—деньги“ и еще много картонок понаклеено, и сам старый Ле-ин, Владимир Ильич, дорогой и близкий, промеж них, улыбаясь, спрашивает:

„Ванька, зачем пришел? Такой-сякой, не мешай директору“!—И надо, значит, по коридору во двор и через двор в ремонтную, рядом во флигель, где на маленькой двери—прописью скромно:

„Здесь помещается ячейка РКСМ“.

Ваньке тринадцать, а в уставе четырнадцать. Так и сказано: членом союза может быть каждый рабочий подросток в возрасте от четырнадцати.

А покамест можно с совещательным. Ах... как не хочется быть совещательным—больно обидно: Гришка-то ведь—член решающий, а в одном классе и в одной мастерской... Федька, Сенька, Васька, Стенька, Ванька Длинный тоже—чем они?

Вся беда в тринадцати.

И когда, бывает, на собрании выносят резолюции, и целый лес рук вырастает над белокурым мхом голов, так и хочется, хочется поднять руку заодно со всеми, а боязно—вон, кажется, каждый смотрит и говорит: „Ванька, не забудь устава“.

Вечером в клубе собирается вечеровать фабрика. Взрослые—в читальне за газетой, молодежь—кто во что.

В зале полутьма. Из вереницы карточек, воззваний и плакатов выделяется только „Свод законов о труде“, а под „сводом“ группа ребят слушает Митрия—первого члена „Бюро“. Митрий говорит о боге. И похоже, будто в голове у Митрия—динамо, из динамо тонкие невиди-

мые ремешки в пятнадцать головенек. Ворочаются мозговые механизмы.

Манька взвизгнула.

— Ах! Ванька, Ванька, тут...

И запела:

Ванька-Ванюшка,
Ростом с понюшку,
Все комсомольцы,
Все народовольцы.
Один беспортошник,
Один безбилетник,
Скажи, шпингалет,
Где твой билет?

Ванька вздрогнул, и ремешок порвался.

Митрий мягко:

— Ну, чего меташь? Слушай лучше о чем говорят.

— А чего говорят-то? Ерунду разводите... А брата ты не защищай; он сам за себя постоит.

Федька шепнул:

— Ванька, дай-ка ей раз...

— Ну ее...

И злоба шевельнулась в Ваньке.

А Манька с девками подались к парням, обложили их плотным кольцом.

— Расскажи, Митрий, из „Огней революции“.

Белым облаком рассеивалась злоба. Черный ком зашевелился, полыхнул язык из-под нагретых губ:

— Верно, даешь „Огней революции“.

Ночью, в темной затхлой комнате, спит Ванька с братом Митрием в одной кровати. Спит Митрий сладко, широко ноздрит горячим носом, обдает вокруг дыханьем потным и горьким.



М. Берингов

Пионеры у костра.

Смотрит Ванька долго на решительное лицо брата, жадно ловит перебой сердца, дышит спертым воздухом и потихоньку:

— Митрий, а, Митрий...

— Чего?

— Я об счет ячейки...

— Ну, чего, опять со школой?.. Завтра, завтра...

— Нет, я не об том...

— Все равно, завтра: спать надо...

— Почему это так, с четырнадцати?

— Что с четырнадцати?

— В уставе...

— В каком уставе?

— В рекесемовском...

— В рекесемовском потому, чтоб шпингалеты, как ты, в союз не лезли. Понял?

— Понял. Только, Митрий... чем я хуже других?

Голос у Митрия злой и брюзгливый.

— Нельзя... Знает ведь, что нельзя, а тоже лезет.. Заправил и никаких... Спи вот лучше и нечего арапа заливать...

Поздней ночью воет по округе ветер, пляшет, словно бесшабашный комсомолец. Мигают звезды разными оттенками—кто согласен, кто не согласен, и кончается собрание под утро.

И когда уже нет ветра и нет звезд, и густой туман заволакивает аудиторию неба, черный кожаный Петро дергает тоненький нерв фабрики, и орет фабрика во всю фабричную глотку:

— У... у... у... у...

Медленно подымается в доме мать. Слышно, как возится она за перегородкой, сводится рот от сладкой зевоты:

— Ох-ох-ох... Грехи наши тяжкие...

Белые ползут по стенкам тени, светлыми барашками карабкаются по карнизам, путаются в бороде у Маркса. И уже знает Ванька, что сейчас проснется отец и скажет мягко: „Мать, а мать, самоварчик бы“, а потом громче: „Эй, Комсомол, слышь: старуха-то по нас убивается“. И кажется Ваньке, будто нарочно это отец про Комсомол... Знает ведь, что безбилетный Ванька.

Утром урчит самовар, как старый резец по железу, утром на стеклах окон соки ушедшей ночи. Отец и Митрий пьют и смотрят в сизую муть, толкуют о парработе. Мать приглядывает за Ванькой: руки жилистые — в подбородок, глаза умильные, ласковые:

— Пей, пей, Ванюшка, с хлебом, сынок. Исхудал ты совсем в рекесеме вашем...

В сердце у Ваньки кипятком обида.

II

Ночью, в черной затхлои комнате, спит Ванька вместе с братом Митрием в одной кровати. Спит Ванька. Снится ему, будто причалил к ливерскому отделению паровоз огромной мощности. „Ух“—рявкнул, дернул и пошел, пошел к Москве-реке, а Москва-река и не река вовсе— море, море социальной революции. Паровоз, не думая,— на волны. Плещут волны через крышу, заливают нутро паровоза. Польшаёт пламя топки, обжигает жадные языки моря, и шипят, шипят тяжелые поленья.

У топки кочегаром Ванька.

Пузырями, пузырями кожа; набегают белыми буграми лижут их и разрывают волны. „Ах... уйтить бы от собачьей топки, прыгнуть бы в об'ятья волнам, освежить бы тело“. Только слышит Ванька:

— Что, устал, товарищ Назаренко?

Глянул. Видит—Ленин.

Пена в сердце. Бесы в пене. Эх... и пляшут, сучьи дети.

— Нет... не устал, товарищ Ленин...

— А как думаешь, довезем до коммунизма?

— Довезем, товарищ Ленин

— Ну, тогда валяй, братец, отселе недалече..

— Есть, товарищ Ленин.

Пузырями, пузырями кожа: набегают белыми буграми, лижут их и разрывают волны.

Вдруг—стоп... остров.

На острове лето. Струится солнце. Ластится ветерок. Цветут дома. Выходят люди.

— Здравствуйте, товарищ Ленин, а это кто с вами?

— Это комсомолец Назаренко.

— Нет, не комсомолец я, товарищ Ленин,—по уставу не хватает года.

— Ах, вот как?

И вдруг вынимает Ленин новенький комсомольский билет и подает Ваньке. Видит Ванька в нем свою фамилию, имя... Ах...

— Ванька, а Ванька!

— Что, товарищ Ленин?

Продирает сонные глаза и видит Митрия.

— Что, где билет, билет?..

— Какой билет?..

— Союзный билет...

— Чей?

— Мой.

— Откуда?

— Товарищ Ленин дал...

И вдруг понял Ванька, что снился Ленин и больше нет ничего.

С горечью рассказал Митрию.

Тронуло Митрия:

— Вижу, Ванька, будешь ты комсомольцем, что надо.

Только мы с тобой теперь в одном положении—тебе в Комсомол, а мне в партию... Так же, как и ты, страдаю: молод, говорят...

Тихим звоном отозвались в сердце слова брата.

— Верно, верно, Митрий, нам как раз по году не хватает. Давай уговор—в будущем годе сразу вступать.

— Есть такое дело.

Шелестели языками до рассвета.

Снова урчит самовар, как старый резец по железу.

Снова на стеклах окон соки ушедшей ночи. Отец и Митрий молча слушают Ванькин сон.

— Ох-ох-ох...—крестится мать,—ну и сна же у тебя сынок...

Робко подкладывает Ваньке хлеба.

Ванька совсем не видит матери, не замечает отца и брата.

— И вот, стоит это он самый и говорит: „Как думаешь, товарищ Назаренко, довезем до коммунизма?“ „Довезем, говорю, товарищ Ленин!“

И чего не случилось ни разу—чувствует Ванька: вытянулась сильная рука отца, вот прикоснулись шершавые волосы, словно метелка, черная борода. Цок-цок—жгучие губы в маленький лобик.

В ремонтной на видном месте выклеил старый Петро:

Правительственное сообщение

В связи с значительным ухудшением болезни, с сего числа выпускается бюллетень о здоровье В. И. Ленина.

У видного места с раннего утра толпятся люди. Читают и расходятся молча. Морщатся лбы, ежатся плечи, стынут глаза в подземельях век.

— Плохо с Владимиром Ильичем...

— Плохо...

А в ячейке РКСМ читает секретарь:

Циркулярное письмо.

О 25-летнем юбилее РКП (большевиков)

Лучшим подарком для партии от Комсомола безусловно будет передача в партию отборных ребят из рабочих ячеек

Секретарь М. К.

В этот день не клеилась на фабрике работа. У работниц рвались нитки на басонах, и проворные руки неумело боролись с цепкими стальными пауками. У ткачей неправильно шел узор, останавливались машины, и прозорливые опытные очи не могли сразу нащупать причину порчи.

В ремонтной, в пуговичной, в барабанном то же, и даже старый кузнец, весь лохматый и заросший, никогда

ни с кем не говоривший, кроме своих инструментов, обжег длинную седую бороду, после чего сказал Ваньке (заменял Ванька дедова подручного):

— Эх, нейдет чтой-то...

И потом, насупив брови и прикрыв огонь:

— Слухай, юнец, хоть ты и комсомолец и во всем, как и в работе, ни чорта не смыслишь, иначе спрошу тебя, потому негоже мне, старому, взрослых куммунистов об этом спрашивать. Не люблю я их—не настоящие они куммунисты, только смотрют свой карман, а хозяйского глаза ни—ни...

Ванька Щуплый—пот рукой и нос рукой. Выпрямился и заерзал глазами по старику.

— Я, Антипыч, охотно...

— Охотно; это я и так знаю, что охотно—побалакать, лишь бы не работать; знаю вас, сукины дети... А вот ты скажи мне...

Голос его задрожал.

— Что, это верно, что Ильич того...

— Верно, Антипыч.

Старик тихо на железный пень, три больших креста на грудь, шопотом:—Не приведи господь...

Ванька неуверенно:

— Что, никак за Ильича, старик?...

Губы старика шамкнули:

— А то за кого же?..

Радость полыхнула Ваньке в мозг. Звончато, задорно крикнул:

— Ведь коммунист он...

Дед встал, выпрямился и пробурчал:

— Давай работать, неча трепатню...

И поперхнулся. И когда снова пылал огонь, пытели меха и шипело железо, дед медленно и нехотя под тон железу:

— Что же с того, што куммунист? Всякие бывают куммунисты. Были бы все, как он, и куммунизма не надо бы, а то только что название одно...

А в басонной и ремонтной собирались группами и толковали. И никто не просил расходиться. Молодежь даже во двор вышла. Манька Шустрая глаза в землю, смирна, как курица.

— Ребятки, где бы нам секретаря сыскать?

— В райком ушел...

— А Митрия?..

— Тоже...

С'ежились в комочек и сердца, челноками мечутся предчувствия.

А в окне Ванька. Хочется Ваньке к своим. С дрожью в хитрость:

— Я, Антипыч, сбегаяю раз-раз... Все доподлинно узнаю...

— Што ж, иди...

Зазвенел, забрызгался звоночек в фабзавуче. Высы пали фабзайчата:

Длинный Петька впереди крикнул.

— Што это вы, ребяга, носы опустимши?

Манька злобно:

— Не знаешь разве?

Длинный Петька в вид ораторский:

— Знаю, ну и что ж?.. Польза-то какая в отчаивании этом?.. Тут помощь нужна, врачи нужны, потому никакой бог над нами не сжалится, а врачей и без нас дадут. Наше же дело, ребятки, вот в чем: получился ноне цир-

куляр в ячейку об юбилее партии. Надо в партию подарочек получше флотского заправить—вот вам, чорт вас ешь, и помощь Ильичу... Потому работничков в партии мало—заработался Ильич...

Отлегло немножко у ребят—будто длинный Петька длинным дулом дунул в сердце и прочистил и раздвинул сжавшиеся стенки. Заискрились, зацвели глаза из-под открытых век. Ванька Щуплый бойко:

— Братцы, кого же передать-то?

— Ясное дело не тебя, шпингалета...

Ой, как уколело Ваньке в грудь, как вдарило в мозг в глотке чтой-то пересохло, посвежели белки в глазах. Замешался и прошептал:

— Нет... Я не про себя, конечно...

— А не про себя, так и не суйся...

Стушевался Ванька, а хотелось ему первым делом в'ехать в морду кулачишком Маньке и потом сказать всем громко: „Знаете ли вы все, ежели хотите знать, вот Митрий, которого вы наверно выберете, до самых тех пор не пойдет в партию, покуда меня в Комсомол не примете, потому такой у нас уговор был—обоим нам по году не хватает“. Но не сказал—пусть лучше сам заявит Митрий на собрании.

А Манька Шустрая сосредоточенно:

— Кого же нам, в самом деле, выставить?..

Сенька задумчиво:

— Думаю, ребятки, что это дело „бюра“, кого предложат, того и выставим, потому...

Длинный Петька оборвал, кривляясь:

— Потому, потому—балда ты... во что, коли хочешь знать. Кой к чорту комсомолец, ежели все у него бюро, а самодеятельности—ни на грош...

Манька примиряюще:

— Бросьте, ребята, из пустяков, конечно, обсудить надо...

Сенька, чуя поражение, вздыбился и руки в кулаки.

— Ну, и пусть обсудит, а вот теперь какая я балда, скажи... Какая я балда?

Жжжах Длинного под правый бок.

— Вот какая я балда!.. Видал балду?..—кричал и пенился.

Петьку Длинного перекосило:

— Ах, с сучьевого завода, постой-ка, я те вылушу суконную харю... Вот, вот тебе, фашицкое отродье...

Завязалась драка. Помаленьку в драку все. Ванька с радостью за Маньку; норовил фонарь под глаз, да мимо, не достать Ваньке проклятого глаза; в ярости под грудь начал. Из ремонтной — беспартийные рабочие, из басонной — работницы.

— Ай, ай, поглядите-ка, что делается, чем Комсомол занимается...

По двору мастер. Увидал и крикнул:

— А ну, расходишь—после шаломыжить будете...

И когда расходились, радовался Ванька, чуял—близится заветное желание, близко. Вот так штука будет на поругу Маньке.

А на завтра собирались комсомольцы в клубе. Секретарь, партийный, Павел Мироныч, о партии, о Ленине, о комсомольцах. Мол, нужны сейчас помощники Владимиру Ильичу—умаялся больно. А помощников готовит Комсомол—вот и вышло время на помощников.

Все ясно, все понятно Ваньке, только что ежели вдруг да согласится Митрий?.. Как подденут Ваньку ребята, что скажет токарь Володин?.. Нет, не может

это быть, ведь уговаривались, и потом Мироныч скажет, что нельзя—по устройству не хватает года.

Председатель, бойкая шальная голова, сразу двумя звонками звякает — одним медным, другим глоточным; свое дело знает.

— Товарищи, бюро ячейки выдвигает Солодкову Анну—19 лет и Назаренко Митрия—17 лет. Ребята, кажется, всем известные, а свое согласие из'явили.

Голоса в ответ пчелиным гудом:

— Есть... знаем... поддерживаем... об их и думали...

Смотрит Ванька в сторону брата, видит—горят глаза по-необычному. Что ж это, Мироныч?..

Ничего Мироныч.

— Итак, считаются принятыми.

И уже не слышит Ванька, что говорят дальше, чувствует только—мутно, мутно в голове; кругом, кругом ребята, кругом, кругом столы и стулья..

— Ах... что это, никак дурно Ваньке?

— Ну, конечно...

Зазвенели, завизжали голоса, загудели, закричали, загорланили:

— С чего это он?

— Никак с радости, брат-то его Митрий в партию передан..

— Нет, не с радости, вишь они сговаривались вместе подаваться: один в партию, другой в Комсомол, ну с обиды, значит...

— Ах, вот как... Он еще не комсомолец разве?

— Именно, что тринадцать ему, и, главное, один у нас такой всего-на-всего, а то организовали бы пионеров...

АЛЕКСАНДР НЕВЕРОВ

БОЛЬШЕВИКИ

В полдень на дворе собираются большевики: Женька, Борька, Маруська, Борькина сестра—Нинка, Женькина сестра—Ленка и Ленкина кукла со стеклянными глазами. В зеленых деревьях, вымытых вчерашним дождем, сидят воробьи. Один из них самый пугливый, думая, что ребята станут кидать камнями, улетает от греха подальше. Двое других, самые смелые, глядят сверху вниз. Но ребята совсем не хотят кидаться, потому что они не просто ребята, которые озорничают все время, а настоящие большевики. Каждый день, в это же время, когда солнышко печет в самую вершинку, на тесном дворе с низкими деревьями становится особенно скучно: тучки по небу не плавают, аэропланы не летают. Женька, токарев сын, производит себя в командиры, остальных большевиков—в красноармейцев. Маленькая пешая армия вооружается камешками, становится в ряд и все до одного по Женькиной команде стреляют в толстую стену большого дома за низким забором. Потом Женька ведет пешую армию по тихой окраинной улице на широкий

пустырь и гоняет там молодых красноармейцев до тех пор, пока Нинка с Ленкой не заплачут от усталости, разевая мокрые задохнувшиеся рты.

Сегодня Женька—оратор и такой же строгий, такой же уверенный, как и тот, которого не раз он видел в районном клубе по праздничным дням. Он устраивает митинг на дворе под солнышком, становится в середину.

— Хотите слушать мою речь?—спрашивает Женька.

— Какую? — в три голоса кричат Нинка, Ленка и Маруська.

— А вот я придумаю. Нинка, ты зачем хочешь плакать?

— Меня Ленка в бок толкает.

— Не плачь сейчас, не надо, я буду речь говорить. Маруська, не гляди в ту сторону!

— А чего мне Борька на ноги наступает?—сердито вскрикивает Маруська.

— Борька, не наступай, привыкайте к порядку,— строго приказывает Женька.—Когда я замолчу совсем, вы руками хлопайте. Если вам понравится моя речь, я опять стану говорить. Потом и Борька скажет речь. Ты, Маруська, скажешь?

— Чего?

— Чего-нибудь! Как живете вы с матерью, какую пищу едите.

— Когда, вчера?

— И вчера, и каждый день.

— Мы вчера картошку варили.

— Ну, постой, не сказывай, я тебе слово дам..

— А мне, Жень, дашь?—спрашивает Ленка.

— Ты заикаешься больно.

— А Нинка?

Нинка смотрит на Женьку тревожными глазами, лоб у нее от напряжения становится красным, на маленьком веснущатом носу — круглой пуговкой — выступает пот. Женька с минуту раздумывает, нахмуривая бровь.

— Там увидим! Останется время, я всех запишу.

Серьезный и строгий, с подсученной штаниной на левой ноге, делает он наказы уверенно, часто проводит ладонью против жестких стриженных волос, как делает и тот, настоящий оратор, в районном клубе. Женька и манеру его усвоил—стоять на одной ноге, вскидывать голову, прищуривать глаза, улыбаться снисходительно-гордой улыбкой.

Собрание Женькино рассаживается по земле тесным полукругом. Ленка бежит за куклой, оставленной под деревом, сажает ее рядом с собой, поднимает на оратора серые внимательные глаза, часто шевелит губами. Губы ей мешают. Она то сожмет их плотно-плотно, то чуточку приоткроет, лизнет языком, мигнет под ряд два раза и опять смотрит на оратора внимательно, напряженно.

— Уселась?—спрашивает Женька.

Но тут перебивает Борька.

— Постой, Женька, ты нынче кто? Троцкий?

— Нет,—отвечает Женька,—нынче я Луначарский.

— А я кто?—спрашивает Борька.

— Хочешь—Троцким?

— Ну, давай!

Когда Женька „дает“ Троцкого, Борька опять кричит:

— Постой, Женька, если я Лениным буду?

— Бывай Лениным, все равно такой же большевик. Неожиданно поднимается Маруська.

— Э, какие ловкие! Взяли себе Ленина с Троцким а нам не оставили.



— Вы делегатками будете, на с'езд к нам приехали, — говорит Женька. — Хотите, чтобы Борька Лениным был?

Все молчат.

— Нинка, подними руку! Ты согласна?

— А Ленка согласна?—спрашивает Нинка.

— Я давно согласна, раньше тебя, — откликается Ленка.

Нинка смотрит на Маруську теплым разинутым ртом, нервно вертит подол у рубашки.

— Я ничего не согласна, и не больно мне нужно!

— Зачем же ты плачешь?

— Да я не знаю чего я согласна!..

Молодой Луначарский, сын токаря, Евгений Федорыч, товарищ Толмачев, начинает сердиться.

— Если вы не будете согласны, мы вас в большевики не возьмем! Зачем вы глазами глядите во все стороны? Глядеть надо на меня, когда я говорю, и слушать надо мою речь. Маруська, зачем ты головой вертишь в ту сторону?

— Кошка там ползет!

— Где?

— Вон, вон!..

Женька видит на крыше большую серую кошку и мысли в голове у него вдруг обрываются. Ему хочется запустить в кошку камешком, чтобы мяукнула хорошенько, но этого делать нельзя сейчас, потому что он, Луначарский, приехал на митинг. Борька тоже смотрит на большую серую кошку и сзади за спиной у себя нашаривает камешек вытянутыми руками. Забывают и делегатки, о чем говорил оратор. Все глядят на низкую тесовую крышу. Женька неожиданно говорит:

— Перерыв на десять минут, кому хочется глядеть! А ты, Ленка, беги домой скорей, принеси мне карандаш и спроси у мамы хлеба маленький кусочек.

Нинка тоже хочет есть, Марусяка хочет пить, и весь митинг разбегается в разные стороны, в разные двери. Нет и кошки на крыше. Остаются только товарищ Луначарский с товарищем Лениным. Ленину хочется влезть на дерево, Луначарский ловит его за штаны.

— Не надо сейчас, давай лучше речь подготовим! Мне хочется устроить первый май.

— А флаги где?—спрашивает Ленин.

— Один разок без флагов можно.

— А музыка?

— Это вот верно. Без музыки не бывает первый май.

Весной, когда Женька с Борькой ездили в автомобиле на городскую площадь, где ходили заводские с фабричными — эх, сколько было этой самой музыки! Которая в барабан играет, которая в губы дует. А одна труба больше всех была и лады на ней приделаны. После Женькин отец рассказывал, что под музыку ходить больно легко: ноги совсем не устанут и плясать маленько хочется..

Молодой Луначарский ложится под деревьями около низенького забора и сквозь зеленые ветки задумчиво смотрит в сухой струящийся воздух.

— Тебе который год?—спрашивает он Ленина.

— Скоро восемь пойдет!

— А зачем ты маленький такой?

— Эх, маленький!

— Ну да, меньше меня.

Борька ложится рядом с товарищем Луначарским, вытягивает ноги, пытит, надувается, чтобы вытянуться еще больше, но в это время Нинка кричит с крыльца:

— Боря, твоя башня свалилась, чуть-чуть не упала, и мне больше не хочется делегаткой!

Ленка бежит с карандашом в руке.

— Женька, мама хлеба не дает и велела тебе домой итти!

Маруся молча глядит из своего окошка, капая на голову себе из ковша.

Женька обижен. Стоя посреди двора на широко расставленных ногах, ласково говорит он разбежавшемуся митингу:

— Вы разве совсем не будете с нами?

— Жарко больно, не хочется! — отвечает Маруся из окошка.

— И делегатками не будете?

— Нет, мы никак не будем!

— Эх, а мы с Борькой первый май сделаем, сошьем красные флаги. Борька устроит барабан, а я нарисую чего-нибудь. Будем с песнями ходить, два раза искупаемся в речке, из песка наделаем блюдечков, станем чай пить, как в клубе. Ты, Маруся, умеешь петь?

— Какую?

— Вся власть советам!

— А чего не уметь-то! Я ее давно умею, больше тебя.

— А ты, Нинка?

Нинка спрашивает Борьку.

— Борь, я умею ее?

Когда делегатки снова появляются на дворе, Женька, чувствуя победу, делает им выговор.

— Ты, Маруся, и ты, Нинка, хуже всех. Сами большевики, сами бегают. Разве большевики от товарищей бегают? Я хотел вам речь сказать, теперь не скажу. Говори им, Борька, сам!

— Чего?

— Речь, чтобы они не бегали. Вставай на мое место!

Ленин становится на Женькино место, запрокидывая голову. Видит белую точку, остановившуюся прямо над двором, и вдруг начинает чесаться локтями.

— А прежде какую говорить?

— Про все говори!

Борька тычет пальцем, показывая на делегаток.

— Ты, Маруся, ты, Нинка, и ты, Ленка, прийдите нам флаги! Если не пришьете, мы не станем с вами водиться. Уйдем двое с Женькой, будем купаться весь день, а вас и на речку не пустим. Даст мне мама денег, я барабан куплю. Что?

— А мне мама тоже даст!—кричит Нинка.

— Она тебе давала!

— А тебе не давала?

— Нам не больно нужно! — неожиданно перебивает Маруся. — Я сама буду Луначарским, а Ленка с Нинкой—Троцким.

— А ты верхом не умеешь ездить! — загорается Борька.

— А вы в речке плавать не умеете!

— Кто, я не умею? — спрашивает Женька, выступая вперед.

— Не ты, Борька вон каждый раз около бережка ползет!

Губы у Борьки дрожат, глаза смотрят исподлобья. Какой же он большевик, если только около бережка ползает.

— Женька, разве я не умею плавать? — спрашивает он дрогнувшим голосом.

— И ты умеешь, а я все-таки лучше тебя! — с гордостью отвечает Женька.

— Эх, а я по сих пор залезу, не боюсь — хвалится Борька.

— А я вот по сих залезу! — хвалится Женька.

— А я вот по сих!

Борька садится на дворе посреди неоконченного митинга, держит ладонь на голове, показывая глубину, куда он залезет.

— И лягушек не боишься? — спрашивает Маруська.

— Боишься! Я их ногой раздавлю.

— А змеев? — тихо спрашивает Женька, оттопыривая губы.

— Змеев и ты боишься! — смущается Борька.

— Вот и неправда твоя! — причвокивает Женька, — я змеев не боюсь, собак не боюсь и на маленького волка с палкой пойду...

— А я комаров не боюсь! — подпрыгивает Нинка, — они меня щиплют, которые кусают, а мне и не больно даже...

Молодые большевики, увлеченные спором, разом выходят со двора, торопливо шагают к речке, чтобы показать друг другу чего они не боятся.

— Я нынче в рубашке буду купаться! — говорит Маруська.

— Я тоже в рубашке! — перебивает Борька.

— А я и в рубашке и в штанах! — спокойно пошмыгивает носом молодой Луначарский.

Нинка, облизывая языком сухие обветренные губы, часто семенит босыми ногами, раздувая горячую пыль. Пыль лезет Борьке в рот, и он все время дергает молодую делегатку за серенький вихорок, перевязанный крас-

ной ленточкой. Нинке больно, из глаз у нее лезут слезы, но плакать ей нельзя теперь, потому что она большевистская делегатка, идет с большевиками, которые ничего не боятся.

В траве около забора светит консервная банка. Молодой Луначарский вытирает ее подолом рубахи, сует Маруське в руку.

— Держи, бить будешь в нее, сейчас мы устроим первый май.

— А чем буду бить?—спрашивает Маруська.

— Сейчас найдем.

Борька разыскивает большой проржавленный гвоздь.

Консервная банка, перевязанная Борькиным поясом, висит на шее у Маруськи. Сама Маруська ждет приказания. Женька велит петь разными голосами, чтобы громче выходило, поправляет штаны, машет рукой, и пять молодых большевиков нестройным хором бросают в тишину окраинной улицы звонкую красноармейскую песню:

Смело мы в бой пойдем
За власть Советов!..

Сверху, прямо в вершину, горячо печет июльское солнце. Сухой, струящийся воздух обжигает шею. Молодой Луначарский снимает рубашку с себя, машет ею над головой вместо красного флага, громко поет:

И все за э-та!

Нинка, высоко поднимая ноги, крепко бьет голыми подошвами в землю и, не слушая других, тянет свою песню срывающимся голосом:

И все умрем в борьбе,
Мы все в борьбе за власть,
За власть в борьбе,
За э-та!

Маруся с широко раскрытыми глазами колотит большим гвоздем в консервную банку:

— Тра! Тра! Тра!

Маленький Ленин кричит, хватая Ленку с Нинкой за руки:

— Лево́й ногой! Лево́й ногой!

Идет „первомайская“ демонстрация в жаркий июльский полдень по вымершей окраинной улице с закрытыми окнами, шумит, тревожит воробьев, весело двигается на желтый песочек к реке, где можно месить пироги и лепешки, где откроют они настоящий буфет, как в районном клубе, только без чаю и сахару, но много вкуснее...

С О Н

— Ивана Пятрова в фабзавуч запишите,—так рекомендовал себя тринадцатилетний мальчонка Ванька, когда он поступал в школу фабрично-заводского ученичества.

Так его и прозвали—„Иван Пятров“ да „Иван Пятров“.

Иван Пятров в рваном пиджачишке, в сапогах с огцовской ноги тащился вечером домой. Он очень устал, и его немудрящее по весу туловище на заплетавшихся ногах едва тащилось вверх по лестнице на четвертый этаж. Отворив дверь каморки, он первым делом бросил косою взгляд на полку и из-под узорчатой занавески извлек горшок с „пустыми“ щами.

Обед Ивану Пятрову показался вкусным, потому что он не ел с самого раннего утра и измаялся, как водовозная лошадь. Сегодня он с инструктором разбирает ткацкий станок и получил задание на завтра собрать его. Щи скоро „благотворно“ подействовали на Ивана Пятрова, и он начал рассуждать вслух.

— Станок соберу, буду учиться заправке. Заправку сделаю, буду ходить запасным подмастерьем.

А потом Иван Пятров потянулся, раскрыл широкий рот, едва выговаривая: — Па-а-то-ом спе-а-ца-а-листом бу-у-ду,—и полез под лоскутное одеяло.

Вдруг жжжж... трах... трах.

— Ай, чорт возьми! И что это за ремень? Скидается да и на. Ты его, а он тебя... А гонки?! И почему это они все с погонялки сваливаются?.. Тьфу, чорт возьми!.. Шесть шестерней почему-то лишних оказалось. А мастер сказал, чтоб каждый винтик на своем месте был...

Иван Пятров примерил одну, другую, третью, ни одна не подходит к единственно оставшемуся свободным месту, выругался, сплюнул и начал сборку снова.

Отец Ивана Пятрова только что пришел с вечерней смены, посмотрел на стонущего в кровати сына, ощупал его голову—она была с повышенной температурой. Одед его другим одеялом и начал заниматься починкой старой обуви для своей семьи.

А в это время в голове Ивана Пятрова новые мысли.

„Здорово досталось, а все-таки станок собрал, хоть мастер и посмеялся, когда я к нему с жалобой пришел, должно быть, мне лишние шестерни подложили... но все-таки сделал... Теперь я уже хожу в запасных, ко мне ткачихи одна за другой идут: — Ваня, голубчик, поди, посмотри, шпарутка што-то развинтилась, полотно морщится, челнок заминает...—А как на меня смотрели де-вушки, когда я шел с ключами по широкому коридору... Но я тоже хитрый... ноль внимания... потому неудобно... на деле нахожусь... И я был прав... Митьке Звонкову мастер как раз за это самое выговор дал, а мне только сказал, чтоб я грязными руками полотно не пачкал, и ушел.“

Дверь каморки отворилась, раздался зычный голос Митьки Звонкова:



Максимов.

Рабочий подросток за к-игой.

— Ванька! Идем в футбол играть!

Отец Ваньки погрозил в сторону Митьки шершавой рукой, в которой было крепко сжато голенище старого сапога. Митька, затянув звонким голосом „Яблочко“, отправился вдоль коридора. От падения мяча разносились удары, как из звонкой бочки, когда по ней ударяют чем-либо тяжелым.

Иван Пятров перевернулся на другой бок, на минуту открыл глаза; до его слуха дошли удары мяча, возбуждавшие у Ивана Пятрова новые представления. Он пожегил, потянулся и снова с головой улез под лоскутное одеяло.

„Сборка станка, заправка основ, ремонт, все это для меня пустяки. А вот ты теперь докажи, как вот этим самым молотком, что так звонко бьет по этому куску стали, в этой самой мастерской сделаешь новую часть к „револьверному“ станку... вот тебе тогда все скажут: „Действительно ты, Иван Пятров, квалифицированный рабочий... что ни на есть первый сорт...“

И Иван Пятров начал доказывать: руки засучил по локоть, взял циркуль, составил чертеж и пошел, и пошел... Семь ручьев пота с него слилось, а до конца еще долго. Один раз носил примеривать... Не точно подогнал, два раза подпиливал и только на третий убедился, что в самый раз. Засмеялся Иван Пятров во всю мочь, обрадовался и как гаркнет: „Браво! браво! Иван Пятров—квалифицированный рабочий! Теперь куда хошь и что хошь сделаю! Ура! Фабзавуч кончил!“

Заботливая рука матери два раза прошла по его кудластой голове. Он было встал, но усталость была так велика, что несмотря на слова отца: „Чего ты там разорался, аль бесишься?“, Иван Пятров остался в прежнем состоянии.

Видит он другую фабрику, оборудование старое, рабочие отсталые. А себя директором.

„И чорт меня догадал согласиться в тресте на заведывание этой дырой! Ни сырья, ни вспомогательных не хватает. А на-днях подмастерья гулом привалили в кабинет, говорят: „Иван Петрович, как хошь, а работать за эту ставку отказываемся... трудно.. жить неумоготу“... И знаю, что верно говорят, да сделать ничего нельзя... Бедноваты мы еще... Вот на ремонт все ухлопали... И повел я их на стройку. Показываю:—Смотрите, что здесь делается, все гнилье новым заменяется, машин новых ждем, за хлопок денег много вложили вперед, новые бетонные крыши „шеды“ строим.. мочить вас, братцы, уж больше не будет... паровые новые ставим, а то с такими топлива идет, еще на две таких же фабрики хватит. Трест нас считает лучшей фабрикой и оборудовать начал. Я вот план и чертежи с проектами здесь все при себе имею... Вот здесь будет и новый корпус, новые автоматические станки будут в нем стоять... Здесь будет шлихтовальная... Да... да, братцы, здесь же прямо в ткацком будет стоять шлихтовальня, ремизная, бердовная, а здесь, еще подальше, ваша ремонтiroвочная... Кончили вы на коленке работать“.

И кажется Ивану Пятрову, что подмастерья давно забыли про цель своего посещения и не нарадуются на своего пролетарского директора, а один даже не вытерпел, да так крепко по-братски пожал руку Ивану Пятрову, что тот закричал во всю мочь, и... проснулся. Оказывается, то лез на кровать отец Ивана Пятрова и наступил ему на брюхо.

Было поздно. Иван Пятров слез с кровати, его охватила озноб, он был сильно вспотевши, и его охватывал

холодный августовский ветер, врывавшийся в окно. Иван Пятров затворил окно, слез с подоконника, приложил одну руку к виску, другую к тому самому месту, где от страха екало сердце, и как бы в кошмаре простонал.

— У-х! Ну и сон! Ну и тяжелый же это путь!.. Только во сне посмотрел и то устал и выбился из сил, а как же взаправду-то придется работать?

Он зажег керосиновую лампу, достал популярный учебник „Детали машин“ и принялся рассматривать части ткацкого станка системы „Добби“.

ДОКАЗАЛ

Заснежился простор заводских пустырей.

Из ярко блестящих решетчатых окон рвутся стекольным дребезгом звуки духового оркестра, с шумом вырываются из открываемых дверей и скачут вдоль фабричных корпусов и забора.

Тенями в окнах маячит рабочая молодежь.

Гуськом по пушистому скрипучему снегу шагают в клуб запоздавшие.

— Яшка, иди скорей, а то на пятки наступлю, — смеется один из комсомольцев, стараясь наступить на след другого.

— Брось дурачиться...

— Скорей, а то и так опоздали: пропустим доклад о пролетарской литературе.

— Не пропустим; музыка играет, значит, доклада еще не было...

Втиснулись в двери с морозным паром и застучали ногами, обивая снег.

— Веником обметите сапоги, — заметил им сторож, подавая огрызок метлы.

— Давай...

Следом—со смехом две девушки, покрасневшиеся, вприпрыжку, одна в шубке и ботиках, другая в кожаной куртке и валенках.

Постукали ножками, остановились. В ботиках, сероглазая, подошла к Яшке и ножку вытянула:

— Обмети снег.

Яшка шмыгнул носом, веник протянул, обидевшись:

— На, сама обмети, теперь слуг нет...

Кругом закипел молодой смех, влетел вместе с вошедшими в клуб и сразу замер.

— Тише, товарищи,—неслось с эстрады,—слово товарищу...

Стихло кругом—начался доклад.

Яшка—ученик слесаря на заводе. Низенький, рябой, вертлявый. Просидеть неподвижно минуту—Яшке пытка.

Вот и теперь: примостился почти у самой эстрады, сел задом к стене и строит рожи товарищам.

— Ну и непоседа,—говорят рабочие.

— Яшка, брось,—увещевают, смеясь, товарищи.

Яшка отошел к стене, стал за стулом девушки в валенках, наклонился, задел, смеясь, за платок.

Оглянулась удивленно. Яшка с самым вежливым тоном и улыбкой:

— Как тебя зовут?

— Таня...

— Ты сиди, я больше не буду. А меня Яшкой зовут. Хочешь, и ты зови.

— Ладно, только ты не мешай слушать.

— А ты што понимаешь?—буркнул Яшка со смехом.

Вспыхнула сероглазая, загорелась:

— Ладно. Потом я с тобой поговорю. Отойди.

Отошел Яшка к самым задним рядам, задевая по пути товарищей...

Маленький клуб набился до отказа. Жарко, душно, а закурили и вовсе дышать нечем.

— Товарищи. Есть предложение здесь не курить.

— Правильно. Кто хочет курить, пусть выйдет на мороз.

* *
* *

Окончился доклад и ответы на записки.

Шум усилился спором о пролетарской литературе.

К Яшке подлетела сероглазая Таня.

— Ты не слушал доклада?

— Слушал.

— Ну, что ж, как ты считаешь: есть у нас пролетарская культура и литература?

Яшка хитро повел глазом и в свою очередь спросил:

— Я, по-твоему, кто: рабочий или нет?

Таня смерила Яшку взглядом с ног до головы.

— Ну, рабочий.

— Ну, так я тебе сейчас прочитаю свои стихи. Пойдем в уголок.

Отошли... Яшка начал.

Эх, гудков напевы звучные
Не могу на льны сменять.
На поля зеленые, пшеничные
Зазывает парня мать:
„Ты бросай ячейки и заводы,
Приезжай в деревню, сын,
Да скорей, родной. За огородами
Мне поможешь жать овсы.
Девку первую тебе засватаем..
Не был, сын мой, с похорон отца“...

— Нет, не жди, не жди меня, лохматая,
Удалого комсомольца-молодца.
Не дождетесь, нивушки равнинные,
Проглядишь все глазки, мать...
Я люблю шкивы машинные,
И меня от них не оторвать.
Не сменяю на овсы тетрадки,
Книги, лекции, напев гудка.
Пишешь: „Плачу по тебе украдкой“.
Но не жди, родимая, сынка.
Эх, гудков напевы зычные
Не могу на льны сменять.
На поля зеленые, пшеничные
Матери сыночка не звать.

Таня внимательно прислушивалась, вспыхивая по временам.

— А вот еще...

— Читай, Яша, читай...

Зарастите, тропочки, прогоны,—
Не приду я больше на поля,
Пусть соседки с дальнего затона
Про меня худое говорят.
От завода, книг, учебы
Не маните в поле кулики.
Утром ранним с зорькой на кошобе
Я бруском звенеть не буду у реки.
Надоели парню нивы
И полотна черные полос,
Я навстречу матери родимой,
Не пойду выкашивать прокос.
Зарастите, тропочки, дорожки,
Не приду я больше к зеленым.
Город черный красными окошками
Приварил к себе меня...
Ой, полоски, желтые, пшеничные,
Не сманить цветочком-бубенцом.

Город черный, огненный, фабричный
Паренечку стал отцом.
Зарастите, тропочки, прогоны,
Не приду я больше на поля.
Пусть соседки с дальнего затона
Про меня худое говорят.

Еще и еще читал Яшка, а потом вдруг остановился, опомнившись:

— Ну тебя, еще потом смеяться будешь. А вот ты мне скажи: можно меня назвать пролетарским поэтом?

— Можно, Яша, можно. Ты—настоящий поэт.

— Значит, есть пролетарская литература.

— Есть.

— Ну, вот и ладно.

* * *

Шли из клуба без дороги: по белоснежным, рыхлым просторам.

Ноги увязали в мягко-холодную пушистость по колено, но Яшка с Таней, взявшись за руку, невольно отходили в сторону от тропинки, в густой лесистый парк.

Мороз сильно теребил уши и щеки, забирался через воротник за шею, но, отдуваясь паром, шли они, раскрасневшиеся, молодые, веселые.

Длинные ряды скамеек тянулись далеко по пустынной аллее.

— Вот хорошо. Смотри, сколько скамеек и ни одного человека.

— Давай „в снежки“. Держись.

И не дожидаясь ответа, нагнулся и засыпал Таню снежной вьюгой.

А потом уселись смирно на скамеечке, тесно прижавшись друг к другу...

— Эх, какой хороший мороз.

— Какие у тебя теплые руки. И щеки горят, как раскаленное железо.

— Ну. Смотри, не обожгись.

— А ну, попробую.

И губами прильнул к вспыхнувшей щеке...

И так сидели до зари...

Фабричный гудок встревожил морозное утро, и эхо в парке повторило его несколько раз.

— Яша, а ведь нам на работу.

— Ну, что ж, пойдем.

Из парка ребята вышли прямо к заводским и вместе вошли в фабричные ворота...

СЕРЕГА И СТЕПАНЫЧ

Рассказ.

I

После митинга о горьком рабочем воскресеньи Степаныч и Серега домой не пошли: в клубе остались чайничать.

И хотя работали они в одной мастерской и виделись на дню раз тыщу, но словцом редко-редко перебрасывались. Да об чем и разговаривать Сереге со Степанычем?

Да, да, ну и наговорились.

Серега сильно занятой мечется завсегда, ровно бешеный. То в ячейку, то в комиссию, в завком на собрание убежит—туда-сюда: с семью собаками не догонишь.

Ну, а Степаныч. Об нем будет совсем другой разговор. Мастеров таких, как он, поискать да поискать. И совсем напрасно звонари звонят: есть, мол, такие машины—сунь в нее, скажем, дерьма кусок, конфеткой оборотится. Напрасные разговоры. И наплюйте вы в глаза тому, кто скажет „будут“. А почему? Потому талан нужен. У входа во все мастерские подковки эдаки медные,

и рельефные надписи на них поистерлись. „Завод построен в 1893 г.“ Тогда же и собран завод. В тот год Степаныч и работать начал. За тридцать с лишним годов разболтался его станок. Прямо, надо сказать, никуда. Только это его пустит, а он и затарахтит, как телега по мостовой. А поглядеть бы, что на нем Степаныч выделывает? Игрушки, истинный господь, игрушки, да и только.

И пускай комсомол Яшка раззванивает о вычитанной диковине, выдумали будто в Америке эдакое—пущены сразу сорок станков и прохаживается промежду ними один мастер, надсматривает в роде... А в станках тех разметочка, калибр, табличка механическая, магнитный зажим. Ходит это мастер, надглядывает, масленкой тычет, а станки сами зажаривают...

Чепуха! Не верит Степаныч. И вся мастерская не верит. Шмыгнет носом комсомол Яшка, уйдет, сказав на прощанье:

— У вас старые понятия об технике.

Золотые у Степаныча руки. Он и сам им цену знает. По делам-то давно бы быть ему инженер-механиком, а через гордость свою да крутой нрав и посейчас Степаныч числится мастером токарного цеха.

Сереге ему племяшом родным доводится. Что там ни говори, а все родная кровь: любил его старик какой-то своей, колючей, стариковской, любовью. А как увидятся обязательно сцепятся ругаться. Молодому-то все смешки, да хаханьки, а старик ершится.

Вот и нонче сидели они в клубе, чайничали и эдак сурьезно промежду собой разговаривали.

— Гляжу я на тебя, дядя, гляжу и диву даюсь... Коренной ты есть рабочий человек и грамоту шибко знаешь,

а все топырешься... Как лошадь беззуба, все морду-то в сторону от кормушки воротишь.

— В какую это сторону?

— В такую. В фабзавком выбирали—не пошел. В ячейку тебя с кой поры зовут—ровно и не слышишь.

— Ну?

— А запишись в коммунисты, за тобой вся мастерская, все старики пойдут.

— Больше ничего не скажешь?

— Тебя выслушать хочу.

Степаныч допил стакан, другой налил и только тогда раскачался.

— Полсотни годков без партии прожил да, слава те господи, сыт был... Молодежь еще туда-сюда: вам жить, вам и порядки наводить.. А мы как-нибудь, потихо-легонечку дотянем... Нам помирать не нонче-завтра. . Пей—простынет...

Помолчали.

— Такие-то дела, племянничек... Тебе вот на меня дивно смотреть, а мне на тебя. Ни на вечерку не сходишь, не попляшешь и одеться бы мог, люди добры говорят, по девятому разряду огребаешь бабки-то, а на тебе, смотри кака рванина, ровно и не мастеровой, а золоторотец какой. Сидишь—думаешь, ходишь—думаешь, все одно, што потерял чего иль забыл, да вспомнить не можешь... И мы были молодыми, и мы трясли кудрями. Партия, партия... Комсомол тоже. Опять и то сказать, при этой самой нэпе несчастной комиссарам да жидам и вся польза от вашей партии... Автомобили, рестораны, ших-пых. А ты и в Комсомоле своем, а все ходишь голым, брюхом сверкаешь. Пей, говорю, замерз чай-то.

Сергеа встрепенулся.

— Кому, кому, а не тебе бы, дядя, об наживе говорить... Знаешь, кто скоро-то наживается.

Старик отвернулся, разглядывая плакат.

— Кхе, как не знать... Я не к тому сказал.

— То-то... А што у нас интеллигенции и в партии, и в Комсомоле большинство, так сами мы и виноваты. Как не приучены зебры...

— Звери штоо-ль эдаки?

— Звери. В сторону топыримся. Кто бы за нас чего делал, а нам бы тепло подвалило.

— Понес...

Клуб полон яркого света: от него и глаза у людей веселей. Где-то в дальних комнатах гремит песня, ровно серебряными нитками расшитая треньканьем балалаек и мандолин,—хоровой музыкальный кружок репетируется.

— Ты мне, Сережка, расскажи, как у вас эта сама дискуссия? Еще не перекусались.

— Пока нет, а тебе што, забота?

— Чудно.

— Чудно, да не больно.

— А перекусаетесь, все равно перекусаетесь.

— Поглядим.

— Тут и глядеть нечего... Возьми ты крестьянскую семью: покуда ноги носят старика, все хозяйство в порядке. Сковырнись старик, и завертит куралесица: каждый сын себя в дому хозяином считает. Каждый норовит другому на глотку наступить... Был Ильич здоровый, и дело шло; плохо ли, хорошо ли, а шло: не кусались...

Сергеа подумал, что философия у старика авторитарная, но и в ней какое-то зернышко правды есть.

Густой гул клуба ровно ножом полоснул чей-то истошный крик:

— Ленин помер!..

— Товарищи...

Все повскакали из-за столиков. Парень от двери, захлебываясь словами, торопливо читал телеграмму.

Степаныч слушал, вытянув избитую стружкой, промасленную копотью, костлявую шею. Жевал губами.

— Вот-те раз... Вот-те раз... Ах ты наказанье... Грех-то какой.

— Ну, дядя, идешь?

— Иду, иду, Сережка... Варезку вот запропастил куда-то, варезку...

Клуб быстро опустел.

II

Всего полчаса назад мирно дремавшую вечернюю Москву стегало газетное многоголосье.

— Экстр-выпуск!

— Смерть товарища Ленина!

По руслу тихих улиц окраины, мимо пустырей, заборов, равнодушных домов катился черный поток людей, катилось горячее дыхание. Газетчиков рвали нарасхват и тут же где-нибудь под фонарем, под воротами, в подезде трепетно прочитывали зыбкие строчки. Газетные листки еще пахли сладковатой типографской краской и пачкались под пальцами.

— Умер.

— Умер.

Ни Серега, ни Степаныч домой не пошли. Что делать дома? Никто не шел домой (в каждом доме покойником

веяло). Бежали дальше на углы, на перекрестки улиц, туда, где толпа чернела гуще. Бежали, будто ждали еще чего-то услышать, чтоб быть в куче: лучше как-то.

— Ильич...

— Ленин...

На перекрестке глухо гудели голоса об одном.

Расталкивая толпу, бежали своим путем трамваи. В сетке сорившегося снега, как мухи в паутине, бились мальчишки.

— Экстр-выпуск! Смерть!

Лихач. Шуба. Котикова шапочка.

— Мальчик. Телеграмму.

Сует газетчику бумажку и, не дожидаясь сдачи, запахивается в пушистый воротник.

— Пошел.

Лихач уносит. Толпа провожает его молчаливыми, глубоко запавшими глазами.

Фабричный сторож Панкратов тоже покупает телеграмму. Бережно свертывает и прячет ее за пазуху. (Всего месяц, как выучился грамоте). Степаныч здоровается с ним.

— Беда, Панкратов.

— И не говори...

— Завтра работать аль как? Не слышал?

— Должны ба.

Толпа пробивает, как река в половодье: расплескивается во всю ширину улицы, заходит в переулки.

Один задавленный утробный вздох. С корнем вывергивается: из-под самого сердца.

И только далеко за полночь улицы начинают мелеть от людского гомону.

— Товарищ Ленин.

— Ильич.

Степаныч с Панкратовым вместе молчком дошли до самого дома. На темной лестнице шаркали тяжелыми валенками, сопели.

Черным крылом ночь прикрыла осиротевшую Москву, широкую Россию...

И весь мир.

III

На фабрике все было как-будто по-старому. В огненном беге дрожали цеха. Суетилась мастеровщина: точили, рубили, строгали, сваривали, люкали. И работы утром роздали по полной порции: все по заведенному.

А вот поди ж ты: валится все из рук—што ты хочешь, то и делай. Пацаненок Федька попросил Степаныча с болта изусенец слизнуть и гайку с контр-гайкой пригнать. Взял Степаныч болт да и сорвал резьбу, хотел переточить—ее хуже помял. Вытарашил Федька глаза, стоит.

— Ну, чего разинул рот—иди: уж сделаю.

Покачал парень головой—отошел.

Взялся Степаныч болванку подшипника точить, щечку переточил. И это брак—в переплавку надо.

И с чего бы случилось. Никогда с Степанычем такого не было. Сережка идет; увидит—засмеет, сунул испорченный подшипник в ящик инструментальный, сам будто по делу железом загремел. С обеда хоть пошабашить—так впору.

— Ты што ходишь?

— За тобой, дядя... Венок Ильичу-то надо. Ты бы тово. А? Первый мастер, можно сказать.

— Что ж, для такого случая...

И обедать не пошел Степаныч. Часа два повозился и такой-то ли венок сгрохал, двоим чуть поднять.

— Красить надо, к утру высохнет.

На общем собрании об'явили: идем с Ильичем прощаться. Лица печалью ровно закопчены, а в глазах туман. Работу побросали с обеда: бегали домой умыться, переодеться.

В город двинулись трехтысячной дымовой лавиной. Разрывая морозную муть, и день и ночь двигалось множество фабрик.

День и ночь.

Замоскворечье, Пресня, Сокольники, Рогожский—вся заводская Москва. В рабочей массе тонут редкие островки каракулевых шапок, шляпок.

Хвосты.

С Моховой, с Тверской, Лубянки, Свердловской.

Не всякий видел вождя при жизни, но разве кто не знает его и разве не всем он дорог, кровно-родной?

Под траурными парусами знамен плывут очереди.

Комсомольцы.

Рабфаковцы.

Притихшие, задумавшиеся над чем-то большим, чем книги, песни, веселье. Они идут по кругу в пятый и десятый раз. Снова и снова. Взглянуть и запомнить. Глазами сказать последнее

— Прощай.

В последний раз.

Красные солдаты. На какие подвиги не вдохновлял их образ вождя. Какие страны не топтаны красной конницей!

Ребятишки-школьники.

Пионеры.

Нахохлившиеся, как воробьи в ненастье. Все слова скупы и глухи. Морщатся озябшие лица.

А вот мужики-крестьяне с мешками за плечами, приехавшие проститься с стариком. Проститься, забыть все прежние обиды и ссоры.

На дорогах качаются огромные костры. Они заостряют и красят черные знамена, венки, лица. Огонь застилает Степанычу глаза едучей слезой, мороз выжимает крик.

Степаныч с комсомолом Яшкой венки несут. В затылок горячо дышат три тысячи своих, сто тысяч.

Шорох шагов прибоем бьется у дверей белого дома. Взглянуть.

Запомнить.

Глазами сказать последнее

— Прощай.

В дверях у всех словно ветром сдунуло шапки.

Широкие лестницы. Из глубины далеких комнат похоронный марш.

Тихо.

— Прощай.

Лица, закопченные печалью.

С тихим рокотом выкатились опять на площадь.

Степаныч догнал племянника. Пошли рядом.

— Рука-то занемела... Ровно отвалиться хочет... Это венки.

— Что ж не сказал, перехватили бы.

— Ладно... Чего там... Сережка, а ведь я в коммунисты надумал... Право... Всю ночь нонче не спал... И выдумал... Пра...

Сергея крепко ударил старика по плечу.

— Молодец. В один хомут, знач. Везти легче будет...

В. РЯХОВСКИЙ

СОЛНЦЕ

I

Дверь зарычала басом.

Звонкими монетками рассыпался смех:

— Не к добру завыла. Выживает нас.

И сквозь сетку снежинок в полосе света из окна заглянули коротко глаза. Лукаво сощуренные, ясные.

— Пускай чорт ее дерет...

Сказал Сергей и поперхнулся горстью сыпучего снега. Взмахнул руками, ринулся вслед. На ходу черпнул ладонью по гребню сугроба.

— Я те уважу! Обожди!

— Лови!

И разбежался звон монеток из-под черной шапки со двора на улицу. Догнал,—опять глянули глубоко внутрь глаза. Ухватившись за руки, долго хохотали в снежную пустоту ночной улицы.

Потом шли, близко касаясь. Путали ногами в нескладных валенках. Не замечали метели, резкого ветра. Говорили что-то, а руками горячими цепко схватились. Рукав—

в рукав. Сами собой пробирались пальцы от кисти выше к локтю, где кожа, как бархат, нежная, теплая, и торопливо отдергивали.

Шли.

Тускло светили фонари. Проносился косицами снег, ударяя в лицо колючками. Выл у заборов, наползая в гребнистые наносы.

— Спят уже все, а мы путаемся. А все ты, Сережка, беспокойный.

— Разве самой тебе не нравится?

— Ты как думаешь?

Сама наклонилась низко-низко. Голос—в шопот. Чувствовал, как ходит грудь. А по руке мышками забегали тонкие пальцы.

— Почему я знаю?.. Ты скажи...

Выпрямилась и задорно:

— Хорош ты будешь! Догадайся!

Метались космы снега. На свинцовом небе перебегали светлые пятна. Освещали муть снеговых обломков и столбом упирались где-то за городом в землю. Проектор...

В под'ем рычали трамваи. Ползли с незрячими глазами-окнами. Тяжело резали снежный пласт, пели:— зар-р-р-режу... зар-зар-р-р-ре-жу...

На повороте бросился в глаза свет фонаря. Заструилась вихрем сетка горящих снежинок. Глянули и не узнали друг друга—в пушистом инее.

— Ты не озябла, Нюша?

— Ну, вот еще! Застыла... Ты-то умирать не собрался?

— Ай-ай-ай! Пробивай дорогу!

И Сергей с Ньюшей разглядели на голос через мостовую две мотавшиеся фигуры. Вязли в снегу. Хохотали, дурачились.

— Микола, а Микола!

— Что тебе?

— Ты черкву бачишь?

— Бачу! А ты?

— И я!..

Голоса молодые, ребячьи. Шинели трепанулись полами. Посмеялись и завернули в пустырь, к казармам, в сплошную муть. А через минуту в пляску снежинок врзалась разгульная песнь и два согласных голоса.

Запели так хорошо, что не хотелось шевельнуться. И под шапкой окрепли корни волос. Голоса свились с шелестом снежных косиц, с гулом деревьев на пустоши и неожиданно оборвались.

— Вот мерзавцы!

— Молодцы ребята.

Нюша сказала тихо, серьезно. И крепче прижалась. А у Сергея, подогретого песней, затеснило в груди от желания сделать что-нибудь необыкновенное, дерзкое. Напружилось тело до того, что не сдержался, тряхнул руками, схватил за седой воротник Ньюшу, прижался к самому лицу.

К губам потянулся ссохшимися губами.

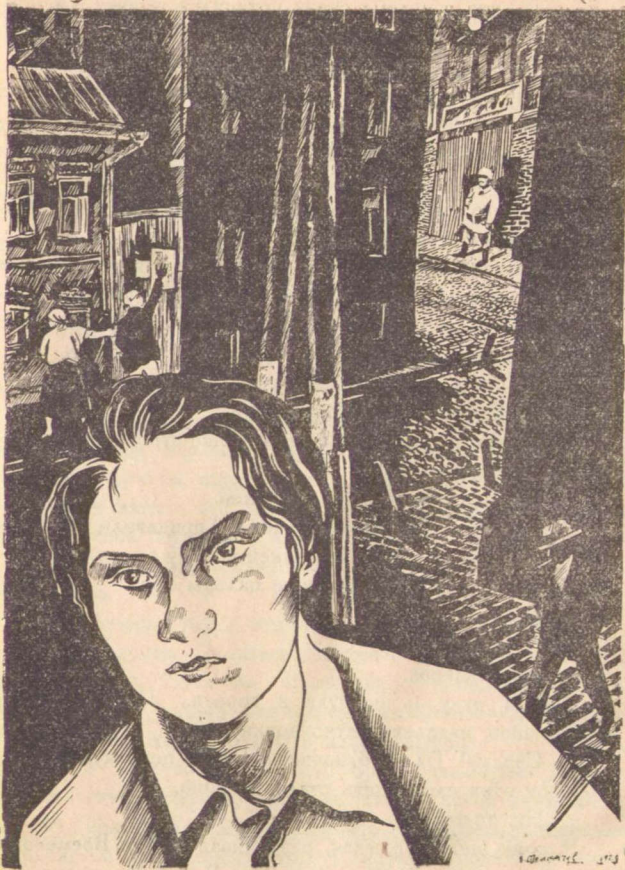
— Можно?

Уперлись руки в грудь. Отпихивала без слов.

— Ведь любишь, да? Ньюша?

Губы пухлые, жаркие, дыханье пахучее. И упругий ряд зубов. Одно мгновенье. Долгое, как века.

Шли обратно.



З. Толкачев.

Товарищ Шура.

— То, что я к тебе сразу потянулся, значит, уж тому делу быть—ни обратно, ни в сторону... Нюша, ведь так?

А Нюша шла тихо, не поднимая головы. Сергею сделалось почему-то жаль ее, словно она потеряла свое бесконечно дорогое, незаменимое. Приголубить ее хотелось, обнадежить... А вместо тихих слов в груди родилась уверенность, сила.

— Нечего глядеть на стариков! Жениться надо! Так. И чем скорее, тем лучше!

И Сергей твердо верил, что только это нужно им двоим. Главное, Нюше, обиженной чем-то и унылой. Глотал воздух с колкими снежинками, и сами собой в голове рождались новые слова.

— В самом деле! Так же будем работать на фабрике, в ячейке. Сыты будем. Чорта ли!

А у самого дома Нюша неожиданно строго, буднично-просто сказала:

— Ну, об этом думать еще рано.

Слова упали, как плоские камни, и придавили все хорошее, что было в груди. Холодней почему-то стало. Услышал Сергей, как ныли большие пальцы ног.

Пробовал узнать:

— А разве ты...

— До свиданья.

Сунула руку и нырнула в ворота... Потом, словно сжалившись, издалека глухо крикнула:

— Сережа! Ты не огорчайся! После потолкуем!

И от этих слов опять стало покойно.

— Ну, то-то!

К дому шел, мурлыкая, размахивая руками. Временами теплой волной обдавала радость. В голове трепались мысли. Складывались в стройные планы.

II

...Господи, Микола милостивый... Прости ты меня, калчушку старую, нагрешницу... День прошел, сотворим... Много я за день, подлая, напакостила...

В комнате пахло луком, тухлыми селедками. Желтый свет лампочки угловато освещал мать у стола, шкафы по стенам, вороха корзин. Тусклыми точками блестела фольга божницы.

Нюша торопливо разделась.

— Пришла? Рано штой-то нынче?.. Иже на всякий час...

Потом мать тряхнула седой головой, оглянулась.

— Волочится, только тебя и стало. Нет бы што помочь...

А у Нюши с мороза плавали в глазах светлые точки. Слова матери казались такими знакомыми, в'евшимися, как блеск фольги, стук отцовских часов с кукушкой.

Мать в мягких туфлях топталась по комнате,—стлала на полу себе постель. И в такт ловкому движению рук выбегали цепочкой складные, словно хорошо разжеванные, слова.

— ...Небось, все с этим олахарем, с Сережкой... Ни красы, ни радости... Оголтыш. Портки еле держатся. Тебе ли такого надо?.. Сама ты—ягода спелая: и надеть у тебя, и все... Ведь только это время проклятое связало тебя с фабрикой, а то бы плюнуть да растереть...

Где-то за стеной у соседей орал граммофон. Доносилось что-то тягучее, хорошее, как та песня двух солдат. И Нюше захотелось вспомнить слова песни и напев. Перебирала в голове, стоя у печки. Грела озябшие ладони.

— Ты ляжешь, али нет?

И мать шлепнулась на толстую перину. Сидя, заплетала косы, и из-под свисшей рубашки видно было, как у нее трепались пустые груди.

— Сейчас лягу.

— Сядь-ка ко мне... Разденься сперва.

Кошечкой свернулась Нюша под одеялом у матери. Одеяло цветистое, старое. Еще с детства Нюше врезались в память цветы, из которых она старалась составить страшные рожи. И мать рядом такая же теплая, как и раньше.

— Ну?

— Нукать-то нечего, девка. Я вот уйду на фабрику и целый день ты у меня на уме мотышешься. И то подумаю, и это... К чему жисть-то клонит. Кто знает? И чего ты еще напринимаешься?

— А ты не думай и все будет хорошо.

— Дуреха ты, оттого и говоришь так...

Мать сердито хмурит брови.

— Устроить тебя получше хочется, при себе еще. Ты думаешь, люди-то нас не видят? Примечают, да еще как... Мне и то вчера намек дала Карасева—палаточница, в гастрономическом. Так, в роде мельком. „Твоя,—говорит,—уже заневестилась. Мой,—говорит,—парень про нее говорил—аккуратная барышня“. Ты-то вот об этом и головы не ломаешь, а матери—забота. Капитал у людей, не какие-нибудь,—по мирному времени на миллионы считали, и парень—плохого не скажешь... Вот.

Нюша видела, как смешно кривился у матери щербатый рот, а по обветренным щекам бродила тень от длинного носа. Потом переводила глаза вверх, к отцову портрету.

Задумалась. Очнулась. Мать молчит.

— Ну?

— Вот и ну! Счастлива была бы. Поставь себе за стойкой да деньги считай. А ты с такими озорниками схватилась, в эту ичейку. Кой там тебе вихор? Мать и без ичейки твоей сыта была. Да и хорошему-то там не научишься, кроме как охальству...

А Нюше вспомнился почему-то вчерашний спор в клубе о семье, о женщине. И Сергей—среди кучки голов.

— ...К чорту всяких кликуш, делающих из семьи добровольную тюрьму! Душит эта семья и детей, и баб! Што они? Только штопать да варить? А чуть што до дела,—они слабы, женщины! Поповское сырье! По-нашему все равны: и баба, и мужчина. Разделение обязанностей только...

При этом он размахивал жилистыми кулаками, а уголкем глаз—в нее, в Нюшу—незаметно, украдкой. Опять тепло стало от воспоминаний и полно в груди. Захотелось поделиться с матерью, сказать ей об этом, но сдержалась. Встала на постели в короткой рубашке, длинная, тонкая. Волнами упали на плечи и спину распущенные волосы. Заискрились в зеркале от света лампы. Свисли кольчатыми волнами на лоб, и лицо стало круглым, маленьким, со вздернутым носом. Потянулась, закинув голову. Даже хрустнуло что-то.

А мать, укладываясь, говорила в спину:

— В отца ты вся, в покойника... Привлекательный был... И глаза голубые, и нос...

Потом мать устало сопела носом в синие потемки, лампадные. Глухо кричала кукушка двенадцать.

III

Утром Сергей чуть не опоздал на завод. Всю ночь снились странные сны. Сладкие, путанные: Нюша, поля под звездным небом и хорошее пение, музыка. Не мог проснуться.

Вскочил от толчка в бок. Открыл липкие веки— Митька.

— Кой чорт дрыхнешь? Гудок сейчас!

Пробурчал сердито, а сам за дверь. Одет—как на работу.

Не хотелось расставаться с подушкой. Пересилил, вскочил, высоко вскинув ноги, и—прямо в умывальню под кран. Ледяная вода зябко сковала корни волос, пробежала ознобом по всем суставам. На улице—вместе с гудком.

Поют приводные ремни. Гибко текут от певучего колеса к передаче. Машина буйно шумит, сотрясая пол. Чокает металлическим лязгом.

В электричке без дела ни на минуту. Монтер—длинный с бесстрастными глазами под очками в золотой оправе—приказывал молча, не открывая рта. Под носом—неугасаемая трубка. В нужном случае поводил только углом белесых глаз. И ребята, как части одной машины, управляли колесами, поршнями, приводами.

Выходя из электрички в коридор, ребята отдыхали, курили. Здесь было тише, а в голове все еще чокало, шелестело, пело. Матюха, третий помощник, плевался.

— Влезла чортова музыка!.. Сам себя не слышишь!

— Каторжная работа,—соглашался Митька.

А Сергей, жадно вдыхая дым, кидал в запыленное окно.

— Эх, ребята, весна скоро! За город можно будет, чистым воздухом вздохнем.

И подставляя лицо низкому, холодному солнцу.

Митька, как всегда, хмуро не соглашался:

— До весны глаза вылупишь. Всю дышалку засодишь, свежий воздух и не доберется.

Над головой тяжело грохали машины, станки. Вверху кипуче, шумно дышал завод.

* * *

После обеда монтер вынул трубку изо рта и зашевелил бескровной полосой губ.

— Провод один на крыше повредился...

И лизнул тусклым блеском очков Сергея.

— Надо подняться, глянуть...

И снова засосал изъеденный мундштук.

Просаленной корягой вцепился Сергей в синеву. Огляделся, глаз сомкнул. В носу задрарапало сладко,—к чоку близко. Сморгнулся, воздержался. Глянул вверх, вниз,—высота, ежели что—духу не останется. Крыши—под ногами. Далеко, покуда хватит глаз, трубы да крыши. Еще кресты и колокольни торчками напихались,— мешают глазом вдаль шмыгнуть.

Вверху—небо да солнце и кое-где ослепительные обрывки облаков. А внизу, по глубине дворов и улиц, лежали косые тени голубого мороза.

Просторно, дух захватило. В глазах рябило. А дышалось глубоко глубоко,—грудь тесна.

Сергей работал. Провод протерся и у станка разомкнулся. Держался на изоляции. Пара пустяков. Сел на гребне крыши, на теплое железо. Вниз по рубцам бежали темные полосы воды.

И не заметил, как прошло время. Веки смежились, в голове туманило. Руки работали по привычке, сами собой.

— Скоро там?—глухо донеслось со двора.

Голос Матюхи. Во все горло спустил за карниз ответ:

— Сейчас! А што?..

— Кончаем!

— Иду-у!

Отвел в сторону.

— Дело есть...

Голос Пашки подернулся глухой тревогой. Он окидывал Сергея деловым взмахом черных круглых глаз, а руками рылся в ободранной папке с надписью: „деловые сообщения“.

— Ну, не мямли!

— Такое дело, парень... Пойдем в коридор...

Вышли. Пашка скинул затасканную кепку, облокотился у окна.

— Дело сурьезное. Вчера мы в райкоме были. Нам преподнесли новый набор во флот, понимаешь?

В груди странно размякло. В голове забились мысли. Удержал твердый взгляд на Пашкином лице.

— Ну, дальше.

— Вот и дальше. От нас двоих,—вынь да выложи! Я ночь не спал. Кого? Если ребята и согласятся, да они гавнюки—толку от них немного. А получше сдернуть—самим жалко упускать. Вот как ты думаешь?

— Я—што же? Соберемся все, взвесим, обсудим.

— А!—Пашка махнул рукой.—Разговоры, а тут сегодня список надо дать. Боевое задание. Знаешь, я тебя наметил.

— Меня? ,

— Ну, да! Некого больше. Надо, чтоб наши супчики были не хуже других. Понял? И ребята согласны. Уж на тебя положиться можно по крайней-то мере.

В голове закружилось. Разбежались по углам мысли: флот, Нюша, дела свои. Опять в глазах платок серый, улыбка пухлых губ.

Пашка ждал.

— Ну, как же!

— Когда ехать?

— Через два дня.

Никак не развернешь порой клубка мыслей: отказаться—не быть комсомольцем, ехать—Нюша. Одернулся. Напружил руки. Глянул твердо.

— Еду.

— Так вот што, парень...

— После поговорим.

И твердо в дверь мастерской.

— Сделано!..

Сергей быстро скрепил провода, поставил на гайку. Ток сильно кусал пальцы и отдавал тошной болью в локтях.

Совсем близко заревел гудок. Ворвался в нежную дымку—черный, прокоптелый, охрипший. Через улицу напротив раскрылись ворота фабрики. Протянулась пестрая волна платков.

— Одна, две, три...

Сергей искал знакомый платок,—серый, с синей каемкой. Пуховый, мягкий такой, свой. Солнце слепило, не давало разглядеть.

— Вот!

Нюша бежала в кучке девушек по двору к калитке. Высыпали на улицу. Близко совсем. Так бы крикнул,

чтобы глянула. Замахал рукой с молотком.

— Ого-го!!

А там уже заметили. Подняли вверх лица. И Ньюша.

— Не узнает?

Сдернул фуражку, распустив на ветер копну кудлатых волос.

— Ну?

Узнала. Обернулась на ходу и махнула рукой. Тайком от всех.

И Сергею захотелось громко, во всю мочь закричать от радости. Оттого, что есть Ньюша, солнце и в жилах молодая кровь.

IV

Ньюша пришла с фабрики, мать уже дома. Возилась с горшками. Вкусно пахло переваренным мясом, пережаренным маслом.

За обедом Марья Сергеевна издалека завела разговор. Начала с цен на сахар.

— ... Потом, видишь, девка, мне будто и неловко, а сказать надо...

И видя, что Ньюша положила ложку, Марья Сергеевна отвела глаза в сторону, потом вниз. Засуетилась.

— Ты ешь! Аль масла мало? Так на, подложь.

Опять ели. Мать путала слова с сочным чавканьем:

— Разговору не оберешься. Всяк свое. А эти Карасевы все равно голову на тебе сломали,—так и твердят.

Видно было, что мать за словами прячет какую-то важную для нее мысль. Когда Ньюша взглядывала в лицо матери,—та отводила глаза... Наконец навела:

— Ну, што ж толкуют-то?

Мать оживленно задвигалась:

— Мне што? Я за язык их не тянула. Только сегодня хотела сама-то прийти к нам, потолковать. С тобой, со мной,—честь по чести...

— Свататься?

— Нельзя сказать... А может быть и так.

Обед кончился.

Лежа на диване, Нюша листовала „Азбуку Коммунизма“. Мать гремела посудой, прибирая со стола. В окно пробился косой луч низкого солнца, ударился в зеркало и рассыпался золотой пылью по комнате...

— Весна скоро...— говорила на ходу Марья Сергеевна.— Молодым людям раздолье... Да...

Нюша не слушала. Плелись свои мысли—одна за другой.

Вслух спросила:

— А в ячейке мне после можно будет состоять?

Мать сразу затихла. Уперлась в лицо растерянным взглядом. Потом горячо заговорила:

— Бог судит, делу случиться—зачем тебе? Да и Карасевым конфуз,—кто их обирает, теснит, тому ты служить будешь? Ни к чему совсем...

Рассмеялась Нюша. Встала, подперла руками бока—голову назад золотую, пушистую. Глаза с искрами смеха—в лицо матери.

— А учиться тоже будет нельзя?

И, не дав ответить, дерзко бросила:

— Торговать ты мною не собирайся... Я сама себя устрою!

Сказала так твердо, что мать, оглянувшись растерянно, замолкла.

Падал в окно золотой луч все длиннее. Краснел и рассеивался у потолка. Бегали глаза вдоль строк. Мысли одна за другой. Свои, клубные, недоведенные до конца вечера.

V

В этот вечер руководитель политкружка не пришел. Опять затеяли спор. Нюша сидела в стороне, слушала и смотрела на Сергея. Он, странно блестя глазами, выдавливал тонкими губами четкие фразы... С ним столкнулся Пашка—секретарь ячейки. Остальные слушали. Сгрудились в кучу—голова к голове.

— Все это верно. Новый быт будет проведен в жизнь, но только не сейчас, когда хорошие три четверти рабочих еще молятся на ночь богу и принимают на дом и попов...

— А што мы должны делать?—спрашивал Сергей.

— Кто мы?

— Ну, вот мы, молодежь? Ведь мы тоже подходим к семье. Как мы должны действовать?

Пашка авторитетно, глядя на всех сверху, раз'яснил:

— Все дело зависит от того, кто с кем столкнется. Ведь рядовую обывательскую девушку не переделаешь... И придется или итти на уступки или сломать всю жизнь.

— На уступки.

Сергей вскочил:

— Дурак же ты будешь, хоть и комсомолец!

Поднялся шум. Видно было, как Сергей взял Пашку за пуговицу и рубил:

— Так мы не сдвинемся по-век! Ты уступишь, твой сын уступит, а внуку и бог велел. Нет, надо сейчас ломать! Не хочет девушка, — не надо, другую ищи!

Неправда,—у нас есть тысячи комсомолок и сознательных, а для себя можно и еще одну с'агитировать и развить.

Пашка стоял на своем:

— С кондачка судишь... Нет у тебя, дорогой товарищ, делового, жизненного подхода.

Ребята кругом скалились.

— С'агитируй, попробуй.

— Больно ловок!

— А ну вас к чорту!

И Сергей вырвался из круга. Не глядя по сторонам,— к двери. Только шапка мотнулась. Через минуту вышла за ним Нюша. Шла по длинному залу и чувствовала на себе чужие глаза. Вздохнула глубже и выше подняла голову.

— Кому што?

Внизу, под лестницей—Сергей.

Опять басом рычала дверь. Опять рассыпала Нюша звонкие монетки радостного смеха. Обдавала Сергея лучистым взмахом темных в сумерках глаз.

Сцепились крепко-крепко.

Пели шаги. А у Сергея внутри все дрожало, переливалась радость. Нюша висла на руке, склонив голову. Такая близкая, родная, как никогда и никто. Руки— в шерстистый рукав, к пальцам гибким, в тепло. Попенять захотелось. За тоску, за изводу. Мягко сунул в черную шапочку:

— Так нехорошо!

— Што?

А сама не глядит. Чувствовал, что улыбается.

— Прошедший раз так отрезала... Век не встречаться... И эти три дня... я...

— Што ты?

— Сердце изныло.

И после отраднo было слышать хорошие речи. Тихие, убедительные.

— Я сама не знала... Вопрос серьезный, большой. И обманывать тебя какой мне смысл? Лучше передумать все и решить самостоятельно...

Улица тихая, глухая. Откуда-то сбоку через крыши переваливал паровозный гудок. Небо вверху синее. Яркими фонариками светили весенние звезды.

— Тепло сегодня, на весну похоже.

Нюша задержала шаг.

— У нас в отделении нынче было так много света, просто залило все. Глядела я в окно и тебя вспоминала.

— Меня?

Сергей порывисто стиснул мягкие Нюшины руки.

— ...И потом, жарко у окна. Думается, што и на улице также жарко... капли, галки орут... а вышла— холодно...

Ночь темная, длинная. Рассыпались по улочкам нескончаемыми поцелуями, долгими, сладкими. От них сохлись жаркие губы и кружилась голова.

Перед тем, как разойтись, Нюша с задором бросила Сергею:

— Ты не знаешь?

— Што?

И у Сергея голос дрогнул тревогой.

— Не пугайся... Меня сегодня сватали.

— Ну?

Руки вяло расцепились. Лицо—в сторону.

— Карасев-торговец, небось...

Захотела Нюша Сергея расстроить, задеть...

— За стойкой стоять,—говорит,—деньги считать. Как по-твоему? А?

Сергей цикнул сквозь зубы слюной и нахлобучил шапку.

— Мне што? Твое дело... Только... шлюхи вы все.

И не dokonчил—подавился теплыми губами, рядом упругих зубов. Растерянно охватил голову Нюши и не мог оторваться.

— Дурачок... Ты и поверил?

— Значит нет?

— Ну, конечно... Расцелуемся...

— Верно, на-смерть!

И закружил свою Нюшу, серый платок с синей каемкой, ясные глаза...

Шли к дому. Под ногами дробным смешком отдавали хрупкие февральские ледышки.

VI

Стояли солнечные дни. Ночи дрожали в пустоте улиц синим морозом. Громыхали по тротуарам обмерзшие шаги.

В электричку стали забегать пыльные стрелки солнца. Яркими точками загорались шестерни, колеса. Медная пыль над верстаком золотилась блестками. А в коридоре в окно можно было видеть небо, верхушки тополей на пустыре в кучках засохших листьев, тучи галок. Лицо нежила солнцевая теплота.

После ночей—по улицам, в клубе, в уголках—Сергей работал горячо, с радостью. Сливал с шелестом приводов залиvistую песнь, гложившую в шуме. Торопился, везде попевал.

Митька в коридоре толкнул Матюху:

— Поет... рад, поди...

Матюха не понял. Растерянно оглядел Сергея и Митьку серыми глазами. На брови складку.

— Чему?

— Э, дулеп, не понимаешь!...

И улыбку в сторону Сергея.

— Скоро на свадьбе-то гуляем, жених?

Сергей оглянулся. Дохнул папиросой и просто ответил:

— Скоро, должно... А што?

Митька не знал, что сказать. Буркнул:

— На-мази?

— А тебе што, завидки взяли?

И опять в электричку.

В этот день перед гудком зашел Пашка.

VII

Нюша встретила вопросом. В голосе тревога, испуг.

— Ты нездоров?

И углы рта сложились в заботливую складку.

— На себя не похож.

В мозгу мелькнуло: доверилась... пропадет теперь...
Вслух выдавил:

— Небось, затужишь?

Нюша спокойно слушала. Сергей кончил.

— О тебе главное...

И озадачил спокойный тон.

— Все это—складно.

Не понял.

— Што складно?

— То, што тебя зовут.

— А ты?

Мгновенье Нюша колебалась. Потом тихо засмеялась и кошечкой приникла к самому лицу.

— Разве я не комсомолка, дурачок?

У Сергея под шапкой бились мысли:

— Шутит? Рада отделаться? Или...

-- Пойдем ко мне.

— К матери?

— Ну, да! Боишься? Не бойся! Я скажу ей.

В этот раз шла быстро, деловым шагом. На ходу роняла убедительные слова:

— Вот тебе и быт. Ты сам спорил, что начинать надо... Мы и начнем.

Обернулась и—в самое лицо:

— Разве женщина хуже мужчины?

И не встретив сопротивления, продолжала бросать в такт шагам:

— То-то! Уйдешь, я одна сумею продержаться... Учиться буду. Работать.

А у самых ворот в потемках задержалась. Задышала в самое лицо.

— Боишься, беременна я? Не бойся. Если так, пусть. Я сама без тебя сумею воспитать.

И Сергей, согретый бодрими словами, не нашелся ответить. Присосался губами к губам.

— Умница ты.

Когда вошли в комнату, Марья Сергеевна долго глядела на Сергея, словно не узнавала. Потом перевела взгляд на дочь. А та весело засмеялась, обняла мать.

— Не удивляйся, сейчас раз'ясним! А ты, Сережа, скидывай свой дипломат-то!

За самоваром разговорились. Окидывая Сергея чужим еще взглядом, Марья Сергеевна качала головой.

— Самовольники... бить вас некому. Ну, уедет он, — как же ты? Когда это у вас дело-то будет? Мало ли что может случиться?

А Нюша за обоих ответила:

— Учиться пока буду, а потом к нему вместе работать. Верно?

Сергей смущенно улыбался и потирал под столом руки. Дома себя чувствовал, как давно-давно у матери в далекой деревне.

Кукушка прохрипела одиннадцать. Марья Сергеевна встала. Приветливо улыбнулась.

— Умно вы делаете или нет — не знаю. Ваше дело... Только, если скоро уезжать-то, собрать кое-что надо... Не на день...

И ушла в кухню.

Нюша припала к Сергею. Шепнула на ухо:

— Милый... Старуха недовольна за Карасевых. Лопнули ее планы. Только теперь уже помирилась.

Скрипели отцовские часы. Зеркало отражало две головы: обе молодые, с лучистыми, счастливыми глазами.

За стеной бестолково орал граммофон.

М. ЮРИН

ТОВАРИЩ ВАЛЯ

Знала товарищ Валя его давно. Еще по подполью. Но то были иные времена. Ребятам было не до этого.

Тайные собрания. Особоотрядчики. Слежки. Настороженность. И товарищ Валя знала Васико как хорошего товарища.

Беззаветно храбрым, хорошим оратором знала его.

Товарищ Валя в ту пору еще кандидатом была. Больше молчала. Слушала. Много читала. Училась. Васико был для нее примером.

Но это было. Прошло.

Теперь товарищ Валя—не та. Возмужала. Имеет опыт. Политически развита.

В районе товарищ Валя—любимец.

Где товарищ Валя, там и ребята.

Беседы. Шутки. Смех.

Товарищ Валя опять вместе с Васико. В одном районе.

Собрания. Спектакли. Вечера воспоминаний—вместе.

С чего это началось, товарищ Валя не помнит, только Васико стал чаще бывать с ней. Искал встреч и помимо собраний.

Первое время товарищ Валя не замечала этого.

С собрания, со спектакля, с вечера идут вместе. По дороге—вместе.

Ребята поговаривали уже вслух:

— Смотрите, товарищ Валя опять с Васико...

— У Васико губа не дура...

— Ловкач, что и говорить...

Все это слышала товарищ Валя. Первое время пробовала протестовать, но получилось смешно как-то. Потом привыкла. Замолчала.

— Мальчишки еще,—заклЮчила товарищ Валя.

Товарищ Валя любила искусство. Шла в театр. Ходил и Васико с ней. Веселей вдвоем-то, да и разобраться легче.

Васико хорошо разбирался в искусстве с точки зрения нового человека—марксиста, а это нравилось товарищу Вале, и они везде вместе.

* * *

Как-то раз, с собрания, товарищ Валя шла к Васико. Энгельс нужен ей был, а у Васико хорошая библиотека, что угодно имеется. Потому товарищ Валя и шла на квартиру Васико.

Прошли две-три улицы. Перешли через мост. Завернули за угол. Васико предложил:

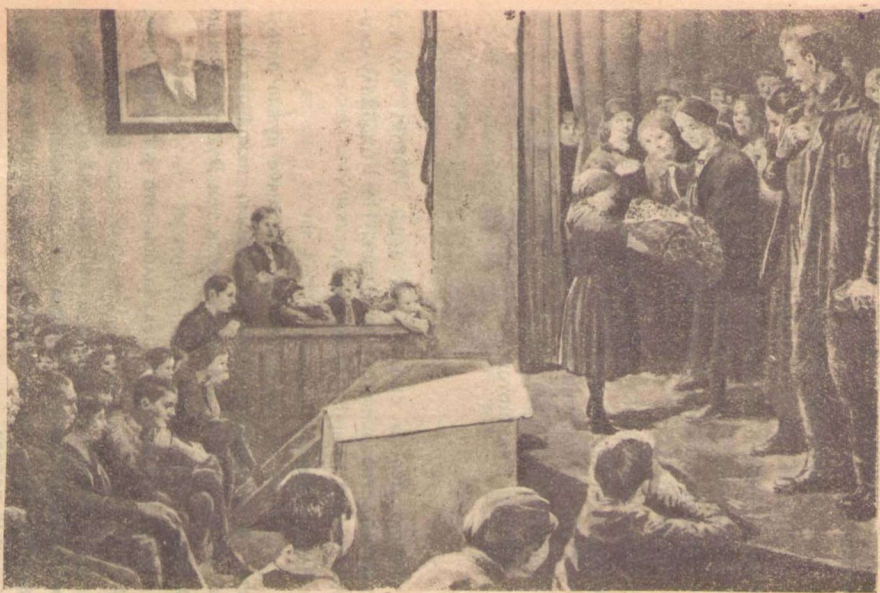
— Хочешь, зайдем?

Товарищ Валя пристально поглядела в глаза Васико.

Нет... Глаза такие же ласковые и смотрят чисто, товарищески. Пыталась в тоне найти что-нибудь отталкивающее. Тоже ничего подобного. Сказано просто...

— Конечно, зайдем. Что за вопрос..

И товарищ Валя шла.



Копаясь в книгах, Васико перечитывал каждую вслух:
— „К вопросу о развитии монистического взгляда на историю“.

— „Девятьсот пятый год“. Троцкого...

— Энгельс. „Анти-Дюринг“...

Эти дорогие слова оживили товарища Валю...

— Плеханов есть... Даешь и Плеханова, Васико.

— Можно,—протянул Васико, бросая украдкой взгляд на товарища Валю.

— Вот тебе... Обе книги даю на две недели, только смотри, будь аккуратной...

— Что за наставнический тон...

Вспыхнула товарищ Валя.

— Ты у меня смотри...

* * *

Васико просто смотрел на вещи. Потому человек воздухом сегодняшнего дня дышал. По Комсомолу считался старой птицей. Подпольник.

Нельзя иначе.

— Старые формы семьи так или иначе нужно разрушить. Мы против рабства, а семья, какой она была раньше,—кабала и для мужчины, и тем более для женщины...

Говорил Васико. И получилось это у Васико ярко, красиво.

Часто Васико беседовал с ребятами на эту тему, потому большая тема. Глубина неизмеримая. Сразу не охватишь всю, да и выводы делал каждый по-своему. Огромный вопрос.

Знали только все, что старые формы отжили, устарели. На смену им должны прийти новые формы. Это знали все твердо.

И только.

А потому ребята и спорили. И слушали все с жадностью.

— Женщина—это прежде всего товарищ мне. Правда, условия прошлого сделали ее более отсталой, чем мужчину, но все-таки к женщине, идущей в ногу со мной, я отношусь с большим товарищеским уважением.

Так говорил Васико ребятам. Но одно дело говорить с ребятами и совсем другое быть с женщиной и говорить с ней. Тут уже сколько бы Васико ни старался из женщины сделать товарища, большинство из них останется прежде всего женщинами.

И ни доказательства, ни пропаганда не помогут... Несознательный элемент...

Отсталость.

А кто виноват в этом?..

Виноваты общественно-экономические отношения.

Мужчина-собственник виноват.

Он оторвал ее от жизни. Запер в собственный угол. Сделал ее принадлежностью.

Но Васико не такой. Простой парень Васико и попросту держится с каждым.

Девушка ли, ребята ли—для Васико все равно. Что на душе, то и на языке.

— Стыдно нам закрывать глаза на то, что не обойдешь и не об'едешь... Природа требует своего, и ничего тут преступного нет. Преступно, когда об этом молчат. Когда считают это неприличным и вместе с тем втихо-

молку любят это до извращения, вот это—преступно. А все естественное, нормальное—хорошо.

Говорил Васико.

И поэтому, когда товарищ Валя и Васико переехали на пароме через Куру и пошли в горы, разговор был их таким же простым, каким обычно знали ребята Васико.

— Предположим, что тебе человек нравится. Ты отдаешься ему, и не так отдаешься, как отдавались раньше, за деньги или из-за расчета стать его женой, нет, а отдаешься, как равная равному... Отдаешься потому, что ты этого хочешь...

Кто знал Васико по подполью, тот не поверил бы, что это говорил Васико. В подпольи Васико другим был. Боевая обстановка требовала боевой мысли.

— Все это, милый друг, красивые слова... Ты забываешь, что всякая из нас в любой момент может стать матерью,—возражала товарищ Валя.

И возражения были метки. Васико это чувствовал. Защищаться государственным воспитанием ребенка Васико не мог. Преждевременно. На разного рода предохранения не каждая женщина, тем более девушка, согласится. И Васико был побит.

И только когда товарищ Валя устала от ходьбы и предложила сесть, Васико снова заговорил.

Просто, красиво говорил Васико.

Опять о физиологической необходимости, о половом подборе, о неизбежном, о простоте взгляда на этот вопрос говорил Васико.

И не помнит товарищ Валя, как это случилось, только после ей было стыдно смотреть на Васико. Но в душе товарищ Валя никого не винила. Этого хотела она. А тут:

Красота гор...
Молодость...
Темперамент...
Ну, и случилось.

* * *

После Васико говорил:

— Чертовски занят...

— Уйма дел...

— Некогда...

И товарищ Валя одна шла домой.

С собрания, со спектакля—одна. И ни намека на обиду, на грусть. Товарищ Валя все так же жизнерадостна.

— У Васико что-то расклеилось...—замечали ребята.

— Глупо требовать от Васико, чтобы он бывал со мной... Нелепо пред'являть права на него... Ведь этого же хотела я, и хотела, как равная ему... Васико не лжет,— уверяла товарищ Валя себя.

А Васико лгал. Была ли работа или не было ее, Васико всегда говорил товарищу Вале, что занят.

Боялся Васико семьи со старыми формами...

— А вдруг, да товарищ Валя—мать. Ребенок через год-другой, и пропало все...

— Чорт меня дернул!—раскаивался Васико.

Васико хотя и подпольник, но молод. Жизнь свою он не мыслил без революционной борьбы, без учения, без стремления вперед. А семья как-никак—обуза. Лишний груз. С семьей не прыгнешь.

Так думал Васико, и потому эта самая семья казалась ему каким-то страшилищем. Но, снявши голову, по волосам не плачут.

Товарищ Валя перестала бывать на собраниях. На работе товарищ Валя получает двухмесячный отпуск. Товарищ Валя—мать.

— Интересное явление, — думает товарищ Валя, — может быть, неудачно, уродливо, но что-то новое. Из нашего быта—значит, не лишнее будет, если ребята разберутся в этом.

И товарищ Валя решила.

В заявлении подробно изложила о всем случившемся и просила президиум райкома обсудить этот вопрос на общем собрании.

Второго района ребята—хваты. На подбор. Рабочий район. Как ни старался президиум райкома держать заявление товарища Вали втайне, а ребята все-таки узнали. Пошли разные слухи. Разные толки. Дошло и до Васиکو.

Васико был уничтожен этим слухом. Как же, целое дело. На районное собрание вынесла. Какой позор...

— И что же я сделал преступного... Ну, отдалась... Не ухаживать же нам за мещанками... Сама же хотела... Самое многое—жениться заставят...

Думал Васиکو и с нетерпением ждал общего собрания.

Никакая работа не шла на ум. А ребята шутили:

— Говоришь, новый быт строить вздумал?

— Хорош гусь...

— Посмотришь, какую взбучку дадим на собрании...

А другие:

— Ничего, Васиکو, не робь, отстоим.

Так длилось три дня, но эти три дня казались для Васиکو вечностью. А в пятницу утром повестка:

Райком просит явиться...

Васико знает, о чем идет речь. Явиться. Хотя и не легко ему, но явится. Нельзя: дисциплина.

* * *

Сегодня собрались все. Нельзя: интересное дело.

По клубу перебегают резвые голоса:

— Читал циркуляр?..

— Сдай.

— Политпроверку—давно. Во вторую...

— Да, Ленина „Империализм, как новейший этап капитализма“.

— Буду. Ровно в пять, обязательно...

Жизнь настоящая. Простая, здоровая. Молодость.

„Добьемся мы освобождения
Своею собственной рукой“

Доносится с вышины, с хора. И каждое слово, каждый звук отчетливо ударяются о бледный цвет краски. Быстро скользит по стенам и там, где-то в вышине, под самым куполом.

Кирпич без'языкий. А тут, когда слушаешь эти буйные, здоровые голоса, тебе кажется, что каждая стена каждое углубление на тысячи ладов повторяет эти фразы куски голоса, гимны.

Раньше эти стены повторяли другие фразы, другие гимны. Тихо. Невозмутимо. О покорности, о смирении повторяли. Плесневели стены. Нетронутой лежала пыль.

Вечный покой. Вечная непроходимая ночь.

На глазах повязка. В голове чад усыпляющий.

Безмолвие.

Но это раньше было.

Теперь буйное, отрывистое, чеканное:

Вперед заре навстречу,
Товарищи в борьбе!
Штыками и картечью,
Проложим путь себе!

Новые люди пришли. Новые слова:

— Ленин...

— Революция...

— Коммунизм...

О восстаниях. О баррикадах. О борьбе говорят.

Крепнут молодые, буйные поросли.

Мощь...

Еще до открытия собрания ребята говорили:

— Так, дорогой друг, рассуждают только мещане. Ничего преступного Васику не сделал, и если собрание заставит его жениться на товарище Вале, то оно сделает громадную ошибку...

— Да, но ты забываешь, что товарищ Валя—мать...

— Всякий из нас против того, чтобы заставлять, но и считать такое явление, как нечто нормальное, пока еще рано, товарищ.

— Что значит нормальное? Искание, товарищ, искание новых форм—вот и все.

— Все помешались на искании новых форм... В литературе новые формы, в живописи то же самое. А теперь, когда мужчина берет девушку и не хочет отвечать за последствия, тоже говорят: новые формы... Ничего не понимаю...

— Плохо, когда не понимаешь. Понимать нужно.

— Хороши, чорт возьми, новые формы...

Все горячо отстаивали свою точку зрения. Одни доказывали, что Васику прав, другие обвиняли его в легкомыслии и безответственности.

— Новых форм семьи не создашь, товарищ, искусственно. Нельзя так говорить, что-де я хочу этого и создаю. Эти новые формы придут. Путь их—путь коренной ломки общественно-экономических отношений. Путь десятилетий. А все потуги изменить эти формы сейчас напрасны.

Ребята столкнулись с новым интересным вопросом. Вплотную подошли к нему. Живо взялись за него.

Молодость. Глубокие восприятия. Чуткость.

По собранию пронеслось:

— Васико пришел.

К Васико подходили товарищи. Шутили. Грозили наказать. Успокаивали.

Собрание открыл товарищ Айк.

Были и другие вопросы, но их скомкали.

— Как-нибудь, только скорее. Об этом после поговорим.

Ребят интересовало другое: заявление товарища Вали.

Товарищ Айк—опытный парень. Поставил его последним, никто не возражал. Прошло. А все ждали только его, этого самого заявления.

— Теперь, товарищи, заявление товарища Вали,—проговорил товарищ Айк.

Собрание оживило. Загудело.

С места:

— Я, товарищи, предлагаю всего заявления не читать, оно займет много времени, а одному из товарищей изложить самую сущность заявления...

— Правильно.

— Нет, зачитайте...

— Голосуй предложение.

Айк:

— Поступило предложение. Я, товарищи, голосую. Кто за то, чтобы читать?

— Раз... Два... Три... Пятнадцать...

— А кто против читки?..

— Явное большинство...

Ребята и без заявления знали, в чем дело. Каждому хотелось говорить, потому и прошло предложение „не читать“.

После краткого знакомства с заявлением приступили к обсуждению вопроса. Первым говорил председатель.

— Я считаю, товарищи, что Васико все-таки был не прав по отношению к товарищу Вале. Его поступок нельзя рассматривать иначе, как легкомысленный поступок...

Голоса с мест:

— Не насильно же...

— Отговорки, дорогой товарищ...

— А может быть, не он...

— Дурак.

Председатель успокаивает:

— Прежде всего, товарищи, спокойствие. Я ведь вам слова не давал, а вы орете. Нельзя так.

Председатель—любимец ребят. Его слушают. Смолкли.

— Предупреждаю, товарищи: кто будет дебоширить, те немедленно будут удалены с собрания. Каждый может записаться и говорить, а выкриками мы ничего не сделаем. Дело, товарищи, не так просто, как, повидимому думают многие из вас.

— Просим, товарищ Айк, просим...

— Да не будем уж... Говори...

— Тише, товарищи...

— Так вот, товарищи. Порицания достойн этот поступок не потому, что предварительно наши товарищи должны были пойти в Загс или Васико обязан был после жениться на товарище Вале, вовсе нет, а потому, что Васико это сделал легкомысленно, по-мещански. Васико поступил не как коммунист, который за все и всегда, если он делает, должен отвечать. А Васико поступил так: я хочу— и больше никаких гвоздей. После хоть пожар. Так поступил Васико, и за это его поступок достойн товарищеского порицания. Еще до постановки этого вопроса на общем собрании многие из товарищей заявили мне:

— Как-де мы можем судить товарища в его личной жизни? Мы, мол, коммунисты в общественной жизни, а мое личное, интимное должно быть неприкосновенно, только мое...

Такому коммунисту, товарищи, грош цена. Так рассуждать, товарищи, нельзя. Коммунист немислим без общества. Что это за разделение! У коммуниста должно быть все строго продумано и согласовано с общественными явлениями.

А разве молитва, азартные игры, пьянка—не частное дело?.. Однако же запрещаем это членам. Позорит партию и союз—значит, нужно бороться с этим...

Много говорил председатель. Потом говорили другие. Всем хотелось говорить. Интересная тема. Новая.

Потом председатель:

— Товарищи, поступило предложение прения прекратить.

— Рано еще.

— Довольно.

— Ясно.

— Голосуй.

— Тише, товарищи, я голосую.

— Кто за прекращение прений? Большинство. Прения прекращены. Имеется одно предложение, я зачитаю его: „предложить Васику завтра же, 11-го июля, зарегистрироваться с товарищем Вале́й“.

— Еще, товарищи, предложений нет?..

Голос с места:

— Товарищ председатель, слово.

— По поводу чего?..

— Предложение имею.

— Говори.

— У меня предложение, товарищи, такое: опросить обе стороны, и если они согласны жить вместе, то и пусть они живут, как хотят. С Загсом или без Загса. А если одна сторона или обе не согласны, то и нечего переливать из пустого в порожнее...

— Правильно...

— Умную речь хорошо и послушать.

Острили голоса.

— Еще, товарищи, предложений нет?..

— Довольно.

— Нет.

Голосовали. Прошло второе предложение: „опросить“. Васику волновался. Говорил мало. А тут ребята еще мешали говорить.

— Нечего скрывать, товарищи, конечно, жениться я не хотел...

— Ага, не хотел...

— А что ты хотел?

— Хорош молодчик!

Председатель:

— Тише, товарищи, нельзя на собрании держаться так.

— Но говорю искренно, по-товарищески: если бы товарищ Валя сказала мне о своем намерении, то, конечно, я бы ее не оттолкнул, потому что...

— Еще бы, оттолкнуть!..

— „Если бы“ тут, товарищ, неуместно...

— Попросить нужно было тебя, да?..

— Ну и товарищ!

— Не хотел я, понимаете, не хотел. Помимо моей воли все это случилось. Ответа я не боюсь... Только не сделано это умышленно, с заранее обдуманной целью, а так как-то, просто... Молодость... Близость... И...

— Просто, говоришь? Это, брат, не оправдание...

— Нужно запастись волей, товарищ...

— Без цели, значит...

— Товарищи, я не могу говорить при таком шуме.

Айк:

— Тише, товарищи, дайте же высказаться Васико.

Нельзя так.

— Слушаем.

— Говори.

— Что же говорить? Товарища Валу я уважаю и ценю, как товарища, и согласен на все...

Васико выпалил эти слова отрывисто, чеканно и смолк.

А ребятам еще хотелось слушать Васико. Каждому казалось, что не все высказано.

Просили:

— Что же, говори.

— Мы слушаем.

— Не будем больше галдеть.

Председатель:

— Больше товарищ Васико не имеет что сказать. Он из'явил свое желание. Согласен, значит, зарегистриро-

ваться с товарищем Вале́й. С нас этого достаточно. Теперь, что скажет на это товарищ Валя?..

— Слово предоставляется товарищу Вале.

Товарищ Валя красиво говорила. Ребята всегда слушали ее со вниманием. Красиво говорила она и сегодня.

— Довольно, товарищи, смотреть на женщину, как на какую-то придаточную часть мужчины. Она должна иметь свое лицо, а лицо это она будет иметь только тогда, когда отвоюет у жизни свою независимость...

— Знамо так.

— Верно.

— Это явление не должно пройти мимо наших глаз. Мы должны определить свое отношение к этой новой черте нашего быта, чтобы не повторялась она бессознательно, болезненно как-то. Прав товарищ Айк, когда он говорит, что у коммуниста должно быть все чеканно, ясно и определено. С первых же слов собрания я поняла, что оно пошло не в том направлении, но это получилось еще интереснее, и я молчала. В этом споре выявилось наше лицо, вся наша сущность, что ценно и для меня, и для всего собрания. Что же говорил товарищ Смирнов?..

— Докладчик тоже выискался!..

— Постарался парень изложить сущность...

— Я, товарищи, знала, что мое заявление истолкуется именно так. Слишком уж глубоко старье-то в нас засело. Если к нам в руки попадает заявление девушки, то каждый делает вывод о необходимости оказания помощи и старается смотреть как-то снисходительно. Слабое-де существо эта женщина. Нужно защитить. Каждый торопится прийти на помощь, а это унижает и женщину и того, кто так поступает. Сегодняшний случай, как

нельзя лучше говорит за это. Вы, товарищи, мне оказали медвежью услугу.

— Ва-а...

— Попусту, значит, говорили.

— Вот это дело.

— Мое, товарищи, будущее, это—будущее всего пролетариата. Или освобожденный труд и социализм, или веревка и телеграфный столб. Заботы о нем излишни. А ребенок—мой, и он мне не помеха. Вот мой ответ.

Серебристый голос товарища Вали прокатился по клубу. Последние обрывки его бились в окна и замирали в узкой вышине под самым куполом Собрание, словно замороженное, молчало. Ожидало еще. Слушало. Ни звука...

Чей-то глубокий вздох.

— Фу, чорт возьми.

— Да-а...

Взрывы аплодисментов.

— Bravo, товарищ Валя!

— Ур-рр-а!!!—катилось по клубу.

Товарища Валю подхватили на руки.

— Ур-рр-а!!!

Мы наш, мы новый мир построим,

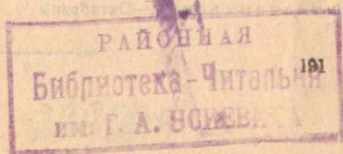
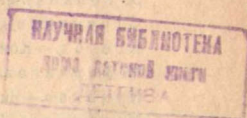
Кто был ничем, тот станет всем.

Это есть наш последний

И решительный бо-о-й...

Чеканно. Отчетливо. Ясно.

Расходились. Шумели. Спорили.



СОДЕРЖАНИЕ

	Стран.
И. Рабинович.—Предисловие	3
А. Яковлев.—В первые дни	7
И. Скоринко.—Шарков	27
Ф. Гладков.—Мальчишка	32
А. Ушагин.—Юный герой	41
Георгий Никифоров.—Юный машинист	48
И. Собин.—Волчонок	56
Микола Хвилевый.—Кот в сапогах	66
Лев Гумилевский.—Смена	84
Ф. Киселев.—Прорва окаянная	92
Г. Шубин.—Комсомольская весна	99
Марк Колосов.—Тринадцать	108
Александр Неверов.—Большевики	122
И. Варфоломеев.—Сон	133
Алексей Волжский.—Доказал	139
Артем Веселый.—Сергея и Степаныч	145
В. Ряховский.—Солнце	154
М. Юрин.—Товарищ Валя	175
 Рисунки:	
З. Толкачев.—Либкнехты!	35
Струнников.—Красноармеец	43
Козлов.—Комсомолка	71
М. Берингов.—Пионеры у костра	111
Куликов.—Читают газету	125
Максимов.—Рабочий подросток за книгой	135
З. Толкачев.—Товарищ Шура	157
Б. Владимирский.—Октябрины	177

299098

Цена 80 коп.



С ЗАКАЗАМИ ОБРАЩАТЬСЯ

В ТОРГОВЫЙ ОТДЕЛ ИЗДАТ-ВА „МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ“
МОСКВА, Новая пл., Б. Черкасский пер., д. 7.

Магазины: Комсомольский—Неглинный проезд, д. 8.
Пионерский—Тверская, д. 37.

ЛЕНИНГРАД, Комсомольский—Просп. 25 Октября, д. 54.
Пионерский—Просп. 25 Октября д. 34.